

БИБЛИОТЕКА АЛЬМАНАХА «СЛОВЕСНОСТЬ»

Книжная серия
«Визитная карточка литератора»

ИВАН РОЗАНОВ

МАЛАЯ РОЗА

Рассказы

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
МОСКВА

Вест-Консалтинг
2014

И. Розанов. МАЛАЯ РОЗА. Рассказы. – Подготовка к изданию: Наталья Рожкова. М.: Вест-Консалтинг, 2014. – 64 с.

ISBN 5-86676-089-4

Автор выражает благодарность Нине Давыдовой, Наталье Рожковой и Дмитрию Цесельчуку. Отдельное спасибо Арсену Мелитоняну за приглашение в Союз литераторов России.

- © И. Розанов, 2014
- © Союз литераторов России, идея издания, 2014
- © Вест-Консалтинг, оригинал-макет, верстка, 2014
- © Е. Абаренкова, обложка, 2014

Некоторые писатели издают свои книги без предисловий; они или чересчур горды или очень ленивы, или же плохо воспитаны. Другие дают лишь одно предисловие; это — наивные и поверхностные писатели.

Книга никогда не пишется для одного человека или для одного определённого класса людей. В одной книге может заключаться десять книг, и каждая из них предназначена для десяти различных слоев читателей, которым она понравится или не понравится по ряду различных мотивов.

Джованни Папини. Трагическая ежедневность.

МАЛЫШ ИВАНОВСКИЙ

Это было в пору моего детства. Во дворе, в котором я жил, в соседнем доме, размещалась молодая чета Ивановских. Они были интеллигентными и породистыми людьми, удивительно схожими. И он в очках, и она в очках. У них был маленький сын, мой ровесник. Тот самый Малыш Ивановский, так его звали. Сами понимаете, со зрением у него тоже было не все в порядке...

Я и Малыш Ивановский какое-то время учились в одной школе. Я был оторван от компании своих сверстников. Мне они не нравились, точно так же как и я — им. У нас было неравное происхождение. Поэтому уже ребенком я начал понимать всю статью и породистость Малыша Ивановского и меня весьма тянуло дружить с ним. Но Ивановский оказался ко мне равнодушен. Вообще — других, как и он, детей, Малыш побаивался. Не относился к ним свысока, но просто замыкался в себе. Мои сверстники, дети люмпенов, Ивановского обижали и задевали.

Единственной страстью этого мальчика была одежда. Вернее, его неповторимый стиль был заслугой его родителей. Родители Ивановского не щадили сил, чтобы одеть любимого и единственного сына качественно и дорого. Я до сих пор не могу забыть костюмчики-тройки и тросточки с позолоченными набалдашниками, на клапане нагрудного кармана жилетки блестела цепочка часов. Был и особый праздничный наряд: расшитый узорами камзол с эполетами, к которому полагалась серебряная шпага.

Глупые дети, преимущественно бастарды, не оценили его наряда и решили жестоко над ним пошутить. Они испачкали дегтем камзол Малыша Ивановского, а затем переломили над его головой серебряную шпагу.

Хрустальный звон треснувшей шпаги разнесся над всей округой. Меня эта ситуация потрясла до глубины души; я донес ее и до своих родителей. Наивный ребенок, я тогда еще совершенно не понимал родительских слов. А они говорили мне что-то о гражданской казни, о Достоевском, о породистости.

Малыш Ивановский после случившегося с ним приключения заболел. Он чах с каждым днем. От нанесенной ему обиды он так и не оправился.

Хрустальная тишина заполнила нашу округу и наш двор, в тот день, когда Малыша Ивановского собирались хоронить. Родители его за день до похорон не могли решить, во что одеть ребенка. Мать, не прекращая плакать так сильно, что запотели линзы очков, вынимала из шкафа прекрасные наряды Малыша Ивановского и один за другим кидала их на диван.

Жильцы наших домов высыпали тогда на улицу в ожидании, когда перед ними пронесут детский гробик. Я тоже там был. Открывшаяся перед моими глазами картина изумила меня. Я оцепенел от испуга. Крышку даже не смогли заколотить. Вместо Малыша Ивановского вынесли какой-то шар поистине гомерических размеров.

Я почти сразу понял, в чем дело. Так и не приняв решения, в чем хоронить сына, родители Ивановского похоронили его во всем имевшемся гардеробе. Вот отчего Малыш Ивановский так раздулся. Рубашка на рубашку, пиджачок на смокинг, куртку на шубу. Так и вышел из Малыша Ивановского шар.

Старухи-сплетницы стояли во главе печальной процессии и жадно обсуждали случившееся. Одна из них говорила: «Это все из-за того, что родители Ивановского были брат и сестра. Ты посмотри, как они похожи! И он в очках, и она!». Но другая старуха возражала ей: «Да нет же, видишь, как ребеночка раздуло: это все от водянки, а водянка оттого бывает, что слишком много вокруг приезжих!».

Прошли годы с того дня, но печальный след остался в моей памяти.

Теперь каждое утро, побрившись и умывшись, подходя к зеркалу и повязывая на свою шею красивый шелковый галстук, я вижу, как мое отражение в зеркале набухает и медленно вырастает в шар грандиозных размеров. И тогда я понимаю, что Малыш Ивановский — это я.

ОХОТА НА ЛИС

Одно из самых ярких впечатлений уже успевшего для меня кануть в лету детства — состоявшаяся охота на лис.

Мог ли я действительно быть свидетелем этой сцены охоты на несчастное загнанное животное, или это лишь плод моего воображения? Я не могу дать ответ. Тем не менее, сцена и сейчас проносится перед моими глазами яркая, как порез на пальце.

Так или иначе, все наши жизни — какое-то подобие борьбы или охоты, хотя уже стало банальностью рассуждать на эту тему. Я считаю, что разумный человек не должен быть охотником. Он должен был дичью; его должны заметить и употребить. И если человек обладает яркой индивидуальностью, его обязаны заметить. Вот она — судьба настоящего белого человека. Ему нет нужды доказывать, что он — белый.

Я — маленький ещё мальчик. Что-то режет мою шею, наверное, неудачно подогнанный воротник куртки. Я плачу, я захлёбываюсь слезами. Я даже снял шапку и безвольно мну её в своих малоподвижных розовых, будто херувимских ручках, и мне всё равно, что меня могут отругать за снятый на морозе головной убор. Я задыхаюсь от плача, но даже холодный морозный воздух не может меня успокоить. Я роняю свою шапку; меня догнал какой-то взрослый, поднимает её и снова возвращает мне в руки. От того мне стало себя ещё жальче, и я плачу с новой силой.

Я закрываю свои глаза, и пока закрываю — вижу капли слёз меж ресниц. Закрыв их, снова вижу это обшарпанное, словно рогатое безжизненное дерево и под ним — загнанную лисицу в окружении охотничьих собак, которых так трудно унять. Вот ведь парадокс: пёсьи повергли пёсего. Хотя чему тут удивляться: человек повергает человека ещё со времён первого поколения потомков Адама. У лисицы тонкие чёрные лапки, которыми она бегала по земле и черпала воду; теперь они немым упрёком безжизненно пронзают пространство морозного неба. Такие же бессмысленные, как ветки дерева без листвы. Вся лисица словно настоящая, словно ещё живая, но неестественно согнута её

шея с серыми прожилками в рыжей гривке. Разорванное лисье горло, как порвавшийся рукав домашней рыжей фуфайки, из которого стекает на снег, оставляя в нём пузырчатые ямки, кровь. Разорванное воспоминание, навсегда запечатленное в моём сознании.

Я не могу больше это видеть, как не могу больше слышать человечески голоса охотничьих собак, загнавших лисицу и теперь алчущих мяса и песьи выкрики охотников, отгоняющих собак от ценной шкурки.

Я открываю глаза, но лисицы нет больше; её отволокли и она не видна совсем. Остался лишь красный след на снегу. От того, что талая вода смешивается с кровью, след этот так быстро розовеет с каждой секундой, что скоро от моей лисицы останется лишь одно воспоминание.

Видя моё замешательство и ступор, но словно не замечая моей никак не прерывающийся истерики, кто-то из взрослых берёт меня под руку и уводит. Мне стыдно посмотреть вверх, где в метре надо мной будет скрытое капюшоном и шарфом лицо этого взрослого, и я бормочу себе под нос, не рассчитывая услышать ответ, единственный волнующий меня в тот момент вопрос:

— Её ведь закопают? Правда закопают? Закопают?..

ЗАПЛЫВШИЕ

Подумать только, но и у водоёмов есть свои судьбы... Людские компании приходят к источнику живой влаги, чтобы выкупаться, чтобы насладиться дивными видами природы, в некоторых случаях — чтобы насладиться не менее дивными видами купальщиц. Люди приходят к водоёмам для того, чтобы учинить пикник с обильным возлиянием спиртных напитков или устроить акт тлетворного флирта. Оставляя после себя на берегу всяческий мусор, люди оставляют после себя ещё и информацию: перипетии человеческих судеб и переменчивость их характеров незримо запечатлеются здесь, на берегу. Ведь только сор наших жизней реален!

История этого водоёма начинается в те времена, которые кто-то называет спорными, а кто-то особыми. Впрочем, так противоречиво оказывается оценена почти каждая взятая по отдельности эпоха...

Так вот, в те памятные времена народ всей той местности, да и, пожалуй, всей страны был воодушевлен и приподнят, несмотря на эпизодические вспышки голода и частные приступы тоталитаризма, только о которых сейчас и помнят. Всеобщей идеей, казалось бы, стало счастье в труде. Кто-то скажет, что многое тогда ломалось, но ведь и многое возводилось заново. В той местности, которая считалась полудикой, несмотря на интеллигентские дачи вокруг и отдалённость от столицы в какие-то жалкие десять вёрст, проложили новую железную дорогу, прямо через болотину и лес. К дороге этой присоединился вагоноремонтный завод и маленькое депо, что раскинулось на укреплённом кореньями вековых сосен обрыве над тщедушной речонкой. Завод оброс бараками, что первой подростковой щетиной, потом бараки сменились бараками поуютнее, так вырос у вагоноремонтного завода рабочий посёлок. Школу поставили, буфет у железнодорожной станции, куда ж без него, и, в центре единственной улицы, — клуб. А для летнего досуга трудящихся, скромную, увечную и ленивую речонку перегородили бетонной дамбой карликового роста и поставили гипсовый памятник: девушка с веслом. Так и образовался этот водоём, этот пруд, о котором я рассказываю.

Люди целыми поколениями, целыми выводками семей ходили к этому пруду отдыхать.

Тогда было время, можно сказать, подъёма. Люди стремились строить, люди стремились проникнуть в таинства природы. Хотели быть дальше, выше, быстрее, чем ушедшие поколения. Они, рождённые для того, чтобы сказка наконец-таки сделалась былью, были рады каждому кусочку хлеба, и не мечтали о сытости. Смылась с их рук братская кровь; труд оправдал и это. И товарищи действительно верили, что вот-вот, со дня на день взойдёт над ними звезда пленительного счастья, и они, воспрянувшие ото сна, позабудут все ненастья. Но случилась война. Братья и сестры, и просто товарищи дружными рядами встали в плотную

линию обороны. Народ стойко переносил все невзгоды и лишения, особенно голод. К станкам заводов встали дети, замещая с недетской ответственностью взрослых, занятых военным делом. То было время блистательных сражений и удивительных свершений духа. Немногие дожили до победных дней... Пруд тоже пострадал: его осушили, чтобы он не был хорошей мишенью для бомбовозов супостатов. Вагоноремонтный завод же, напротив, расширился. Увеличилось и депо, и теперь суровые броненосные поезда, сияя загаром брони в июньском зное, спускались к самой кромке обрыва над бывшим прудом.

Война кончилась, и все обитатели рабочего посёлка, с сединою на висках, отмечали этот день победы, этот праздник со слезами на глазах — торжество великой победы, которую теперь осторожные по-горьковски люди, любители топтать чужие ало пламенеющие сердца, называют отчего-то поражением. Как рабочие, отряхнув с уставших плеч пыль окопов, возвращались к семьям и каждодневному труду, так и пруд вернулся в свои берега. Хоть это само по себе и не ново, но они любили её, жизнь. В ясной воде пруда, пережившего второе рождение, отражались огни праздничного салюта. Потребовались ещё годы, в которые с лихвой вместилось новое поколение, для восстановления. Одни за другими шли отстраиваться яростные стройотряды, под радостный строй гитар, не терпящих фальши. Ширилась, росла рабочая армия. У пруда даже поставили на время летнего сезонного отдыха трудящихся лавку с мороженым. Мороженщица была знакома обитателям рабочего посёлка. Лизавета Геннадьевна, бывшая работница буфета железнодорожной станции была очень рада своей новой работе у пруда. Тогда её годы ещё можно было назвать молодостью, а лавку с мороженым на пляже — буржуазным излишеством.

Времена менялись, вместе с ними менялась страна и нравы — о! как они спешно менялись! Вместе с тем, что давно пора было разрешить людям, разрешили решительно всё — самую низменную гадость разрешили. Работать стало ленно и глупо, обижать страждущих и лишённых — умно и модно. Вагоноремонтный завод над прудом был практически упразднён и разграблен. Стали по-

хожи на руины Помпей заводские цеха. Хулиганы в клетчатых штанах и кепках обломали гипсовой деве весло. Заброшенные и доломанные локомотивы теперь опасно свисали с обрыва, грозясь вот-вот свалиться в воду. Откуда ни возьмись, появился старик-вуайерист в длинном, до пят, плаще, денно и нощно наблюдавший без устали за купальщицами. Но жителям рабочего посёлка, бывшим трудягам, а теперь просто оглушённым людям без цели, было не до ржавых поездов и не до старика-вуайериста. Они были заняты своими новыми свободами, нагрывшимися так неожиданно, как снежный ком на голову. Свободы для них, впрочем, в реальности, а не на словах демагогов, заключались лишь в одном: в палатке с мороженым на берегу стали торговать четырьмя новыми сортами импортного пломбира в пёстрых упаковках по цене никому не доступной...

...Не только жители рабочего посёлка, но и жители близлежащих окрестностей, и даже жители столицы съезжались электричками к тому славному пруду отдыхать. Среди этих празднующих теперь уже не товарищей, а граждан, была и тихая компания: молодая семья из супружеской четы и ребёнка, мальчика; блистательное гастролирующее трио, неподражаемые мастера семейных конфликтов и раздоров. Родителям ребёнка удалось многое: не расставшись окончательно с совестью и принципами, они умудрились хоть как-то вписать себя и свою семью в новую, порой ужасающую, действительность.

Из своего детства тот мальчик запомнил неплохо один эпизод, связанный с прудом. Это лишь случайная информация, и ничего более. Лето только начиналось. Его родители и он сам, раздетые, в импортных плавках, сидели на песке, насквозь прогретом солнцем отечества. Мальчик сидел между отцом и матерью, тоже раздетый, тоже в импортных плавках. Все трое жадно, большими порциями поглощали быстро тающий на жаре фирменный заграничный пломбир из ларька Лизаветы Геннадьевны. Напротив них сидела в застиранном и залатанном платьишке рыжая девочка-коконожка, совсем ещё маленькая, неоформившаяся, пятилетняя. Ей страстно хотелось мороженого, но родители её, по всей видимости, не очень хорошо вписались в новые ус-

ловия труда и быта их спешно ставшей капиталистической и рыночной родины и не могли позволить своему ребёнку прохладное сливочное желанное лакомство. Та несчастная девочка, нутром осознав неконкурентоспособность своих родителей и невозможность заполучить мороженое, в отчаянии, от безнадёги, обильно плакала. Мальчик из семьи побогаче осторожно разглядывал девочку тем же немигающим взглядом, что и у старика-вуайериста, изучающего пляж, стараясь запомнить её лицо, искажённое плачем, её плач, её испуг и потаённое желание... Запомнил девочку он, надо сказать, хорошо. И теперь тот мальчик частенько вызывал из житейского небытия образ той плачущей девочки, чтобы приятно расстроиться и почувствовать светлую печаль — которая всегда, как известно, способствует улучшению аппетита...

Ещё один эпизод из жизни, связанный с всё тем же прославленным прудом, запечатлела память того мальчика. В ту пору, когда его организм испытывал турбулентность пубертата, закончившуюся первыми поллюциями и постепенным мучительным возмужанием, его родители испытывали определённые турбулентности в своих взаимоотношениях, закончившиеся разделом имущества, распилом бюджета и, в конечном итоге, разводом. Ныне в моде сильные женщины, всякие там разведёнки со взрослым ребёнком и иже с ними, но разводятся-то как раз не из-за силы, а в самом деле из-за слабости душевной... Теперь не мальчик, но ещё и не мужчина, скорее просто юноша, жил с матерью. В тот особо запомнившийся ему день он впервые отправился на всё прежний пляж с матерью, но без отца. Лето было в самом разгаре, лето задало жару, покрыло людей с ног до головы загаром. Пруд определённым образом состарился, можно даже сказать, что и поседел. Поседела в самом деле Лизавета Геннадьевна, мороженщица. Единственный оставшийся на склоне локмотив свис над самой кромкой обрыва, грозясь вот-вот упасть с треском и шумом в воду под радостные завывания плескавшейся на мелководье лягушатника детворы. Юноша, сын своих разведённых родителей, впервые испытал чувство острого влечения к купальщицам в пруду; он был восхищён их смуглыми и не очень смуглыми, при-

крытыми тряпицами купальников и не особо прикрытыми, прелестями. Юноша был вынужден всё время пребывания на пляже лежать на животе, ягодицами к солнцу, пряча в знойные пески свою эрекцию, заметную через импортные плавки. Мать угостила сына фирменным заграничным пивом; от жары, от безысходного острого желания в себе самом, от вида купальщиц и от пенного напитка, юноша захмелел впервые в жизни. Ему чувство опьянения показалось пугающим, таинственным, неизведанным, но, вместе с тем, завлекательным... Локомотив над водою, казалось ему, качался из стороны в сторону, Лизавета Геннадьевна совершала странные непристойные движения бёдрами, закрывая на вечер свой лоток, гипсовая дева размахивала яростно обломками отломленного весла, а старик-вуайерист, распахнув свой плащ, плясал, выделявая невразумительные коленца. Чувство первого опьянения запечатлелось в памяти юноши с чрезвычайной чёткостью. Это характерно для нашего времени: первая поллюция запоминается ярче, чем первый поцелуй, потому что потом одеяло отстирывать, а не лечиться от герпеса или мононуклеоза; а первое опьянение запоминается ярче первой в жизни свадьбы, потому что свадьба не запоминается вообще никак по причине всё того же опьянения...

Женщины в кабинках для переодевания брызгали желтоватыми струйками на набитый окурками песок, и, никого не стесняясь, лепили на стены кабинок гигиенические прокладки, о назначении которых юноша ещё только догадывался. В вульгарном поведении женщин угадывались новые демократические свободы и либеральные ценности, доселе в тех краях неведомые. То ли сетуя на собственную судьбу-судьбинушку, то ли пытаясь отвлечь юношу от изучения происходившего в кабинках, мать юноши говорила ему, полупьяному, что не стоит ни в коем разе заводить семью, четырежды не подумав, может ведь быть несовместимость характеров, материальная необеспеченность, бытовой идиотизм, половой инфантилизм и тысяча других не самых приятных вещей. Юноша на резкий тон матери совершенно не обижался; заводить семью он, конечно же, не помышлял, лишь хотел для начала спутаться с какой-

нибудь одной из тех купальщиц или, на худой конец, с какой-нибудь одной из тех женщин в кабинках...

Прошли годы; тот юноша совершенно не возмужал, лишь появилась в его жизни девушка, впрочем, жизнь-то от этого, вопреки всем подростковым ожиданиям, не изменилась; то, что казалось ему когда-то чем-то возвышенным и прекрасным, оказалось на деле грязью сношений и сором ссор. Приехавшая из далёкой провинции, его девушка, конечно же, полюбила по-своему юношу, но главным для неё было другое: деньги вытягивать она умела профессионально, поминутно стремилась к более сытой жизни, мечтала устроиться в жизни за счёт местного юноши, аборигена столицы. Только вот кошелёк юноши толщиною не вышел, денег на осуществление сиюминутных капризов совершенно не хватало. Юноша и девушка вечно из-за этого сорились, но девушка, провинциальная гостья, трезво взвесив свои возможности, понимала, что лучшего варианта ей всё равно не найти, поэтому и не шла на разрыв, не забывая притом каждый день напоминать своему избраннику, что он загубил ей всю жизнь молодую...

В то лето горели торфяники. Стоял смог. Лето подходило к концу. Уже чувствовался вкус августа, повеяло холодком, медком да яблоком, а где-то в отдалении, у берёз и сосен, уже тихо бродила осень. Пруд обмелел. Приехавшие из столицы специалисты санэпидстанции запретили в нём купаться и повесили соответствующую табличку. В пруду плавал локомотив, упавший в воду с обрыва. Останки памятника, гипсовой девы с веслом, свезли на помойку как символ тоталитаризма.

Юноша стоял в очереди в продовольственном магазине у железнодорожной станции близ пруда, собираясь купить на завалывшуюся в карманах брюк мелочь хлеба для уток и какую-нибудь закуску для своей провинциальной подруги и себя. Юноше понравилась продавщица, которая была лишь в одном синем фартуке на исподнее. Невольно он начал мысленно сравнивать продавщицу из продмага со своей девушкой, причём явно не в пользу последней. Грудь у продавщицы больше, живот не висит, ноги прямые, и, что странно и необычно для продавщицы, руки изящные и какие-то все аристократичные, думалось юноше. Да и по-

том, продавщица из продмага, наверное, куда больше него зарабатывает...

Его девушка затем долго кормила у пруда крикливых осипших уток, перепонки лап которых были заляпаны разлившейся нефтью. Ему было жалко хлеба. Уж лучше бы он его сам съел, так тогда полагал юноша. После они сидели обнявшись у пруда, ели какие-то полугнилые бутерброды, которые им продавщица из продмага, ярко запомнившаяся юноше, в микроволновой печке погрела. Оставалась ещё мелочь. От тоски и смога юноше захотелось пива, хотя бы одну бутылочку, можно даже отечественного, не импортного, но его провинциальная подруга отчитала молодого человека и пива не разрешила. Взамен попросила сходить его за мороженым к ларьку Лизаветы Геннадьевны. Ларёк был закрыт на амбарный замок. Старик-вуайерист, по привычке посещавший пляж уже после того, как последние купальщицы съехали, сказал, что Лизавета Геннадьевна тяжёло больна почками, лежит в госпитале и ларёк теперь долго не будет работать. Провинциальная подруга, не получившая своего желанного лакомства, теперь обнимала своего юношу в полсилы. В полсилы, вяло и устало, гладила она его тело, не успевшее ещё привыкнуть к женским ласкам.

Девушка вдруг напряглась, задумавшись о чём-то, лицо её осунулось так, что видно было, как зашевелились ушные хрящи. В её глазах читалось что-то нехорошее, почти озлобленное. Глядя в сторону леса, девушка сказала:

— Я должна тебе кое-что сказать... У меня задержка месячного цикла.

Юноша покраснел, налился злобой. Чувствовалось, как напряглись все его мышцы, сжались крепко, но непроизвольно, кулаки. Молодой человек стерпел, шуметь и скандалить не стал, лишь напряжённо выдохнул.

Девушка обмякла, расслабилась, как обмякает и расслабляется всякий человек, давно таивший в себе что-то, после того, как проговорится. Но напряглась снова. Заговорила уверенно, строго, проговаривая чётко каждый слог так, словно читала по бумажке текст с заведомо расставленными паузами:

— Если у меня... Если у нас будет ребёнок, ты бы... Мы бы... Оставили его?

Юноша оглядел темнеющие сквозь смог кроны деревьев и контуры построек рабочего посёлка, затем поглядел на закрытый ларёк Лизаветы Геннадьевны, на уток в нефти и на плавающий в воде локомотив. Посмотрел вглубь пруда, где под метровым слоем ила подразумевалось дно, и ответил:

— Ещё чего! Оно нам надо? Будет у нас косоногая, как ты, рыжая девочка, будет сидеть тут у пруда и смотреть, как другие дети едят ей не положенное мороженое и плакать...

ТЁМНЫЕ АЛЛЕЛИ

— Проходите, проходите! Рад вас видеть, проходите, не стесняйтесь, — искренне, вежливо говорил Николай Александрович своему гостю, будущему партнёру по одному предприятию, который всё нерешительно мялся на пороге.

— Дорогой уважаемый глубоко Николай Александрович, здравствуйте, здравствуйте вам! — отвечал ему гость с дикой смесью уважения и пренебрежения в голосе. Видно было, что он чувствовал себя чужим, но своей отчуждённостью он скорее гордился, нежели чем стыдился её.

Посетитель проследовал в гостиную и принялся изучать убранство дома, не вынимая рук из карманов брюк. Он был в приталенном, дурно пошитом чёрном пиджачишке, в малиновой рубашке навывпуск с воротником, походившим на ослиные уши, с аляповатыми, не в тон, пуговицами. Его босые ноги были обуты в мягкие туфли, намазанные для шика кремом так обильно, что оставляли чёрные маслянистые следы на белом ворсистом паласе. Гость внимательно изучал комнату, оценивая её содержимое; роскошь и дурновкусие были понятны ему, изящество и стиль — нет. Всем своим видом он пытался доказать, что он тоже европеец, впрочем, это ему удавалось не особенно хорошо. Цвету его кожи соответствовал каштановый цвет глаз, а цвету глаз, в свою очередь, соответствовала желтизна склер; и в самом деле, малиновая сорочка навывпуск подходила ко всему его образу.

— Что скажете об нашем деле? — с места в карьер рванул своим вопросом гость. Николай Иванович похлопал его по плечу с добродушной улыбкой, неподдельной и чистой.

— Ну что ж вы так сразу... Спешу вас успокоить, всё разрешилось благополучно. Это мы с вами позже обсудим, не торопитесь так. Мы должны как следует познакомиться. Должен же я знать, что на уме и в душе у моего будущего делового партнёра! — сказал Николай Александрович. Он был в хорошем расположении духа, приветливость его была натуральной, отнюдь не наигранной. У Николая Александровича было открытое лицо с ясными чертами, высокий лоб и аккуратная борода. Во всём его образе чувствовалось хорошее происхождение, манерность без претензий, благородство. Всё это было естественно для него.

— Вы подождите, дорогой гость. Сейчас накроют на стол, отобедаем вместе. Если у вас какие-то пожелания будут относительно блюд, то говорите. Со всей своей семьёй вас сейчас познакомлю! — сказал хозяин дома. Гость, словно не услышав хозяина, спросил, указательным пальцем тыча в икону на стене:

— Рублёв?

— Простите, не понял...

— Это Рублёв?

— О, нет, что вы! Просто икона, неизвестного автора. Это Николай Угодник. У меня сын, Алёша, болел, вот и повесили.

— А, Николай, как и вы, понятно, — улыбнулся гость. Николай Александрович сделал вид, что ему понравилась шутка его знакомого, хотя он, конечно, остался после такого оборота в недоумении. Две кроткие домработницы продолжали накрывать на стол, поправляли скатерть, несли уже салфетки и приборы.

— А это Шишкин? — спросил гость, теперь скосившись на картину в рамке из светлого, почти белого дерева на левой стене, поодаль от иконы Николая Угодника.

— Простите...

— Это рисунок Шишкина? — спросил о картине гость.

— Ох, нет, ну что вы! Просто картина. Жена купила в подземном переходе, что у Центрального дома художни-

ка... Мы даже автора не знаем! Жена у меня человек чуткий, и вкус у неё хороший, так что картина приличная, и тон комнате задаёт, хоть и автор неизвестный.

— Я об Шишкине книгу читал, — сказал гость, поясняя причину своего интереса.

— Две книги об Шишкине читал, и одну об Рублёве, — добавил посетитель для важности.

— Сейчас моя жена придёт и вас встретит, вместе сядём за стол, когда всё будет готово. Она помогает поварихе сейчас. А дети переодеваются к столу, детей у меня пятеро, господь наградил-то! — с умилением при мысли о своих детях проговорил Николай Александрович.

— А у вас-то самого дети есть? — спросил он ещё.

— У меня? У меня нет пока, — ответил гость, — Но у меня братьев только пять, и сёстры ещё.

— Хорошо, когда семья большая!

— Да. Пять братьев, и трое уже здесь, — сказал гость с гордостью и с ударением на последнее слово.

— Мой дед был важным человеком там, — сказал ещё посетитель и грозно поднял свой указательный палец.

— Что ж, это достойно уважения.

Из дверного проёма показалась женщина, стройная, русая, вся, как и Николай Александрович, в белом. Что-то одухотворённое было в её глазах, чувствовалась в ней и вера и долг, всё, как и должно быть в женщине семейной.

— А это моя супруга, Александра Фёдоровна, познакомьтесь, — сказал сразу весь подобревший и воссиявший при виде супруги Николай Александрович.

— Здравствуйте, очень приятно! — сказала, мило и честно улыбнувшись, Александра.

— Здравствуйте, приятно! — ответил гость, попытавшись изобразить незнакомую ему приветливость. Натянутая улыбка его походила больше на оскал.

Из дверного проёма выпорхнули, как пташки, дети, три девочки и мальчик, самый маленький среди них, все чистые, ухоженные и добрые на вид. Александра подняла руки, и под левую руку к ней, что под крыло к голубке в своём гнезде, спрятались две девочки, а под правую — ещё девочка и мальчик. Семейство было самое благообразное, какое в наши дни и не встретишь-то. Яркие солнечные лучи

вырывались из-под белых гардин и падали погнутыми спицами на палас, осеняя комнату светлых тонов.

— Это мои дочери, Таня, Машенька и Настенька, и сын мой — Алёша. Дети, поздоровайтесь с дядей, — представил своих детей Николай Александрович. Дети приветливо, но с незаметным детским испугом при виде нового, да ещё и необычного на вид, человека, замахали руками.

— Старшая, Оля, к сожалению, не может быть сейчас с нами... Она у нас уже институтка, биологом скоро станет. Нездоровится ей. Сейчас держит экзамен по генетике, всякие там аллели, знаете ли. Сложная дисциплина. Перенапрялась, вот и заболела.

— Я знаю, знаю, — с неожиданным лукавством сказал неизвестный гость, и жёлтые его склеры зловеще сверкнули.

Все расселись за длинным столом. Одна из домработниц-кухарок разливала густой суп.

— Bon appetite, — пожелал всем Николай Александрович.

— Что? — переспросил его гость, — Что вы сказали?

— Приятного всем аппетита.

— А. Приятного.

Семья Николая Александровича приступила к обеду, дети сидели тихо и спокойно ели, даже самый маленький Алёша кушал аккуратно, со взрослой деловитостью закусывая суп кусочками белого хлеба. Гость ел жадно, обжигаясь, дую на каждую подносимую ко рту ложку так, что расплёскивалось. Капусту из супа посетитель оставлял на скатерти. Когда на дне тарелки оставалось совсем ничего, этот неприятный человек поднял тарелку, и отпил из неё. Пальцы его с короткими плоскими ногтями оказались в супе, он решил их вытереть о скатерть. Стоявшая рядом домработница протянула ему салфетку; гость посмотрел на неё озлобленно, почти с силой вырвал у неё из рук столешник, с нелепой озлобленностью вытер руки и швырнул столешник на скатерть. Дети Николая Александровича, казалось, были испуганны поведением гостя, но, как хорошо воспитанные дети, виду не подали.

Николай Александрович был очень добрым, наверное, человеком — на дурную воспитанность своего посетителя он не обращал внимания. В первую очередь, этот посетитель был для него будущим важным партнёром, может

даже что и соратником, от их совместного дела могло зависеть дело Николая, которому он давно был предан...

Николай сразу преобразился, как только его супруга вошла, и если бы его гость был бы человеком чутким, он не мог бы не заметить, с какой нежностью Николай смотрит на свою супругу. Николай Александрович может и был волевым человеком в своих личных делах и будучи на работе, да не в семье: в своём обожании к семье и детям Николай передал все «бразды правления» своей супруге. Жена его Александра, видя поведение гостя, его манеры, точнее отсутствие каких-либо манер, не стремилась возмущаться, сохраняла спокойствие, ведь была человеком хорошего такта: знала, что этот гость — будущий соратник её мужа; так уж вышло, что этот посетитель — представитель важного клана, от торговых решений которого многое зависит...

Подали второе. Гость встал из-за стола, скинул свой душно пошитый пиджачишко, и повесил его на спинку стула с белой обивкой. Покуда он снимал свой пиджак, рубашка его задралась и показались густые чёрные волосы на мускулистом и смуглом торсе.

— Папа, папа, смотри! — неожиданно сказал кроткий Алёша, — Дядя вилку и нож неправильно взял.

— Алёша, нехорошо взрослых поправлять, — смущённо сказал Николай Александрович.

— А это я вашего сына проверял, знает ли он, — ответил, совершенно не смутившись, гость, энергично перекладывая приборы из руки в руку. Не допилив до конца ростбиф и уронив нож в тарелку с таким звоном, что домработницы обе, как одна, вздрогнули, гость заговорил.

— Николай Александрович, что скажете об нашем деле.

— Дорогой гость, — даже рассмеялся немного Николай, — я же говорил вам, всё решено, решено положительно, положительно в вашу пользу. Давайте спокойно пообедаем, вы у нас почётный гость... Не стоит так переживать из-за деловых вопросов, тем более всё действительно разрешилось хорошо.

— Ясно, понятно, — малость обиженно сказал посетитель.

— Скажите лучше, как вам обед, — спросил кротко Николай Александрович.

— Мясо мне понятно. Мясо я люблю, — ответил посетитель, совершенно игнорирующий гарнир и салаты, продолжавший притом рубить ростбиф ножом и вилкой так, что белая фарфоровая тарелка скрипела.

И семья Николая, и гость, продолжили спокойно обедать. Домработницы принесли два кувшина с чем-то красным, разлили по стаканам.

— Это что? — спросил обиженно гость. — Это алкоголь? Мне нельзя: религия, — добавил он и вновь поднял указательный палец.

— О нет, ну что вы, это домашний морс, очень вкусный, попробуйте, — сказала Александра Фёдоровна.

Поморщившись, гость жадно, в три глотка, осушил стакан, поставил его на стол. Посетитель уж было думал вытереть губы снова скатертью, даже потянул на себя угол ткани, но вдруг одумался, вспомнил о салфетке, вытерся столешником. Красные следы морса на белой ткани злоеще походили на кровь.

Алёшенька, почти кончив свою детскую порцию, вдруг проявил удивительный интерес к неприятному гостю.

— Папа, а папа. Скажи, почему дядя так себя ведёт? Он непослушный? — спросил мальчик. Гость быстро взглянул на Алёшу взглядом кошки у миски, ожидающей, что ей наступят вот-вот на хвост.

— Алёша, не хорошо так при госте говорить, — поправил Николай Александрович своего сына.

— Все люди разные, Алёша, — сказала Александра Фёдоровна.

— Папа, а папа. Скажи, почему у гостя глаза такие жёлтые?

— Алёша! — назидательно сказала его мать.

— Алёша, не надо, — сказал его отец.

Гость оглядел всё обедающее семейство злобыным взглядом. И хотя он уже пережевал очередную не в меру большую порцию мяса, желваки его продолжали шевелиться.

— Папа, а папа. Скажи, почему у него такие уши, такая кожа, не как у нас?

Любопытство Алёши продолжало нарастать.

— Алёша, прекрати немедленно! Так нехорошо себя вести, — сказала Александра Фёдоровна.

— Алёша, все люди разные, — добавил Николай Александрович.

— Папа, а папа. А тот дядя — тоже человек, просто нерусский?

Терпение гостя лопнуло. Он резко вскочил со своего места, аршинным шагом подскочил к Алёше и ударил по светлой мальчишкиной щеке наотмашь тыльной стороной своей смуглой ладони.

Прямая чёлка светло-русых волос спала Алёше на лоб, и из светлых глаз закапали по лицу славянских черт чистые, ясные слёзы. Мальчик от боли, от неожиданности, от обиды заплакал. Кухарки в испуге закудахтали.

— Я никому никогда не позволять оскорблять меня, мой народ! — скалясь, произнёс гость, от злости позабывший грамматику.

— Пошли, пошли, мой мальчик! — сказала Александра Фёдоровна, и, обняв вставшего из-за стола плачущего Алёшеньку за спину, повела его в детскую комнату. Вслед за ними последовали и покорные кроткие девочки.

Николай Александрович решительно встал из-за стола, и силы этого жеста было достаточно, чтобы гость застыл неподвижно.

— Уходите сейчас же, прошу вас! И не думайте, что после такого отношения к детям, к моему сыну, между нами может быть хоть что-то. И совместного дела у нас не будет, — строго сказал Николай посетителю.

— Что же у вас у всех за манера такая — лезть в наши дела! Только приедете к нам — и лезете, лезете, лезете! Почему, почему вы вечно вмешиваетесь в наши дела, в наши жизни? — думал Николай Александрович, прекрасно понимая, что никто не даст ему ответов на собственные вопросы, и что не в его силах ситуацию исправить. Гость тем временем складывал свой пиджачишко и собирался уйти.

Гость ушёл, не позабыв плюнуть на порог, когда его уже никто не видел...

Кто знает, быть может этому неприятному человеку суждено будет ещё раз, и не один, переступить порог того дома... Кто знает, быть может «недомогание» старшей дочери Николая Ольги было связано с тем, что она зналась уже ранее с этим посетителем... Кто знает, быть может,

Николаю Александровичу придётся своих будущих внуков воспитывать уже вместе с этим неприятным гостем и с учётом его мнения...

Кто знает, кто знает, каковы они — тёмные аллели современных династий, современных семей и современных детей...

УТРО СОБАЧЬЕЙ КАЗНИ

Народ колготился на площади, возле лобного места. «Что будет, что же будет?», немо вопрошали граждане. На лобном месте стоял рыжий, в комьях земли, экскаватор, на поднятом ковше которого по традиции восточных революций и прочих арабских вёсен висело три петли. В тот знаменательный день маленький народец избавился от своего диктатора, его жены и наследника; демократия восторжествовала!

Меж людей, расталкивая зевак, ходил городской глашатай, по совместительству торговец снедью. Ещё до наступления безграничных свобод, в годы диктатуры, средства массовой информации запретили как явление нетолерантное, не всем ведь они могли быть доступны, и с тех пор новости распространял торговец закусками, прохаживаясь по центральным улочкам столицы.

— Картофельные чипсы! Диктатор и вся его семья казнены добровольно. Соки, воды! Весь малый народец сегодня празднует торжество демократии и толерантности!

А когда-то ведь этот глашатай был главным редактором радиокompании «Помехи эха»... пока ему не выдали лоток со снедью и колпак с бубенцами. В лучшие для малого народа годы он картаво и гордо кричал на всю городскую площадь:

— Сосиска в тесте! Человек в космосе! Салака в томате! Человек в космосе!

Те времена давно прошли. Теперь жителям малого народа было чем набить свои холодильники. Ряшки в зеркалах ширились день ото дня, и вместе с ряшками росло

и недовольство. Захотелось чего-то эдакого: новых свобод и новых извращений, новых ценностей, смены полюсов добра и зла. Всё в соответствии с мировыми трендами.

Когда зеваки разошлись, на городскую площадь вышел мужчина в женском платье. То был Коранский, председатель Перманентного правительства, что пришло на смену диктатуре. Коранскому было немного зябко в коротковатом, по моде тех дней, платьишке. Но мурашки по его холёному телу бежали не от озноба, а от ощущения особого таинства момента, от свербящего чувства конца диктатуры и наступления всеобщего равенства и братства. В своих сильных мужских, пускай что и с розовым маникюром, руках, Коранский ощущал небывалую мощь и силу. Грозным взглядом глядел он на лобное место, на повешенных, на семью диктатора, прекратившую существовать. Никто теперь не посмеет навязывать устаревшую мораль и этику полноценных семей, думал товарищ председатель Перманентного правительства. Его миссия была выполнена.

Празднично горели на улицах покрывки, торжественно валялись раздавленные боевыми слонами трупы нетолерантных людей, сторонников диктатуры и устаревших понятий. Радостно звенели разбиваемые демократической шпаной витрины магазинов и окна музеев. Счастливо горели рясы священнослужителей. Представители большинства отупело молчали, меньшинства теперь заявляли о себе во всеуслышание, навязывая своё поведение как норму. Новые порядки восторжествовали. Ничто, никакая сила не могла снова погрузить малый народец во тьму и ужас диктатуры и традиционных ценностей.

Поджав хвост и нахохлившись, старый уже, породистый пёс пересёк городскую площадь, притопав к Коранскому. Тот брезгливо оттолкнул пса. Животное сонно посмотрело на товарища председателя Перманентного правительства, и ушло восвояси. Казалось, что пёс искал чего-то, да никак не мог найти. Коранский задумался, и вдруг понял, что ещё один важный вопрос остался нерешённым.

Многих стариков и старух, так и не научившихся никогда не говорить «папа» и «мама», побросали на пол большого

зала, положили на них деревянные мостки. Как в старые добрые времена ига, которого никогда не было! На этих мостках и проходило внеочередное собрание Верховного Совета Перманентного правительства, собранное Коранским. Полулёжа на персидских коврах, под стоны придавленных мостками стариков, элита, не запятнанная благородностью происхождения, не отмеченная ярмом интеллекта, без клейма идейности вкушала вина и фрукты, разносимые голыми гермафродитами. В углу стояли раздетые женщины, которые не смогли не называть никогда своих детей по старой нетолерантной привычке детьми. С завязанными руками ждали они своего часа. Женская половина Перманентного правительства поглядывала на них плотно, равно как и мужская половина поглядывала на прикованных наручниками к поручню мужчин, не отказавшихся называть себя мужчинами. Жестом патриция, Коранский дал всем понять, что сейчас произнесёт речь.

— Дорогие господа двенадцати полов, всех рас и всех оттенков кожи! Позвольте мне сказать слово. Толерантнейшие из толерантных! Это великий для нас день. Годы диктатуры, низости семейных отношений и грязи традиционных ценностей теперь навсегда ушли в прошлое. Эти времена не вернуть. Слава мультикультурализму!

В зале раздались бурные аплодисменты. Товарищи депутаты, участники Верховного совета Перманентного правительства, даже отвлеклись от заигрываний с гермафродитами и карлицами. Коранский, эффектно стряхнув со лба длинную косую чёлку, продолжил:

— На лобном месте висит семья диктатора. До чего омерзительной она была! Посудите сами. Мало того, что диктатор был уличён в преступной и мерзкой связи мужчины и женщины. Он ещё и заключил с женщиной так называемый брак, создав так называемую семью. Теперь эти понятия мы должны оставить в прошлом! Не будет больше никаких семей, как не стало семьи диктатора. Казнь будет хорошим уроком для всех!

Даже карлицы и гермафродиты заплодировали после этих громких слов.

— А наследник, сын диктатора! Омерзительно, это существо действительно было произведено от женщины, так

сказать, натуральным путём. Как это дико и низко! Ведь мог же диктатор, как все цивилизованные люди, осуществить для своей жены экстракорпоральное оплодотворение, или прибегнуть к суррогатному материнству... Ну, на худой конец, он мог купить ребёнка на благотворительном аукционе!

Коранский сделал паузу, поправив полы своего плаща с кровавым подбоем.

— Да, это торжественный для нас день. Да, семья диктатора уничтожена. Но ещё один важный вопрос пока что не решён.

Публика замерла в ожидании громких слов, только стоны из-под мостков раздавались особенно отчётливо.

— Жива собака диктатора. Мы обязаны решить, что с ней сделать. С одной стороны, мы должны прислушаться к мнению глубокоуважаемых исламских радикалов, полагающих, что собака — животное нечистое, и посему собаку нужно усыпить. А с другой стороны, в основе нашего общества экологический принцип. Мы ведь все вегетарианцы! Мы за природу! Мы зелёные! Исходя из этого, собаку нужно оставить... Нам предстоит сделать сложный выбор. Надо крепко подумать. А теперь — оргия, ура! — сказав это, Коранский скинул свой плащ и под улюлюканье и восторженные вопли собравшихся, он нырнул в небольшой бассейн с молоком.

Пока ещё не началась всеобщая вакханалия, трансвестит с павлиньими перьями в причёске — новый министр культуры. Он подошёл, покачивая бёдрами, к Коранскому в бассейне с молоком, склонился, грациозно согнувшись в талии, и шепнул ему на ушко:

— Пускай народ решит, что делать с собакой...

...На следующий же день картавый торговец снедью, по совместительству глашатай, кричал на весь город:

— Горячие пирожки! Холодное пиво! Не пропустите, завтра состоится всенародный референдум. В повестке дня вопрос об усыплении собаки диктатора. Холодное пиво! Горячие пирожки! Не пропустите, завтра референдум!

ТУРГЕНЕВДОМ

«Улица Тургенева, дом такой-то...», гласил адрес.

Сухроб совсем недавно устроился работать почтальоном, и ещё не успел как следует изучить русский язык. С устной речью он ещё хоть как-то справлялся, но научиться читать так и не сподобился. Отнести письмо по указанному адресу, куда-то там на улицу Тургенева, было первым заданием для Сухроба. Миссия была, казалось, невыполнима.

«Что такое тургеневдом?», никак не мог он понять. В его родном ауле не было названий у улиц, нумерации домов и подавно не было.

«Тургеневдом мала?», спрашивал Сухроб прохожих, но ему не давали ответа; то ли из-за невоспитанности, то ли по причине всё тех же речевых барьеров.

Была зима, было чертовски холодно. Мороз трещал как сминаемая рукой домохозяйки капуста перед засолкой. Впрочем, квашеную капусту Сухроб никогда не ел; питался он исключительно мясом с овощами и хлебом, как и все его соотечественники.

«Тургеневдом?», спрашивал Сухроб уже непонятно у кого. Сухроб терялся среди сугробов и ледовых торосов. Одет он был по моде, принятый у всякого соотечественника: красные мокасины на босу ногу, спортивные штаны, натянутые почти до подмышек, с мотнёй, болтающейся на уровне колен. Наряд его не совсем соответствовал погодно-климатическим условиям суровой русской зимы, но подчёркивал его образ.

Несчастный новоиспечённый почтальон сжимал в своей руке ту спасительную вещь, к которой он так привык, — его мобильный телефон. «Эх, сейчас бы лето», думал Сухроб. Летом его никто не заставлял работать. Летом можно быть обутом лишь в одни резиновые шлёпанцы-вьетнамки, летом можно сутками напролёт сидеть на корточках перед помойкой и балакать по мобильному телефону с друзьями такими же несчастными, как он, соотечественниками.

Три ссохшиеся старушки, кожа которых сплошь пошла морщинами, давным-давно обитали в том доме вдоль по улице Тургенева, который так старательно, но тщетно

искал Сухроб, совсем потерявшийся в сугробах. Кто знает, вполне возможно, что письмо, которое нёс несчастный почтальон, предназначалось именно одной из них. Конечно одной из них, и никак иначе! В этом доме письма могли приходиться только им да пожилому полковнику, но полковник давно умер, да и потом, известное дело, — полковнику никто не пишет.

Недавно проведённые архивные исследования подтвердили, что три старушки сидели на своей скамейке и обсуждали всё происходящее вокруг них ещё до того, как этот дом был построен.

Когда дом был построен, старухи вселились в него. Ивановна, Петровна и Алексеевна, так их звали. Плодились они не охотно, в отличие от соотечественников Сухроба, о которых, впрочем, в те времена никто ещё ничего не слышал. Немногочисленное потомство старух быстро стремились съехать из «тургеневдома». Так вот и случилось, что три эти старушки были самыми постоянными постояльцами дома по улице Тургенева.

Каждый день, даже в отъявленную непогоду, как на службу шли они к своей скамье, расположившись на которой принимались они обсуждать всё происходящее рядом.

Так и в тот день. Вот и Сухроб. С горем пополам нашёл он тот самый дом на улице Тургенева, «тургеневдом», как он говорил. Ковыляющей походкой на двух отморозенных ногах почтальон обходил фасад здания, мучительно пытаясь понять, что теперь делать с письмом, как его можно приладить к дому. До работы на почте с письмами Сухроб не имел дела. Иные же сотрудники почты, соотечественники Сухроба, тоже не особенно хорошо понимали, что нужно делать с корреспонденцией и толком ничего ему не объяснили. Сухроб всё равно был доволен, теперь хотя бы он был гражданином и имел паспорт.

Сначала Сухроб пытался просунуть письмо под дверь парадной, но дверь плотно вмёрзла в лёд, так, что щели не было, а бедным старушкам с помощью лома и топора приходилось расчищать путь от подъезда до заветной скамейки. Поняв бесперспективность затеи, Сухроб попробовал подложить письмо под газовую трубу, жёлтой змейкой

которой был опоясан весь дом. Но как только он легонечко дотронулся до трубы, она сразу же отвалилась, превратившись в ржавую труху. «Тургеневдом» давно отключили от газа. Чиновники из министерства, размахивая своими портфелями, постановили, что природный газ небезопасен для бытового применения, особенно если речь идёт о пожилых людях. Стряхнув с рук остатки трубы, превратившейся в труху, Сухроб подошёл к почтовому ящику. Но рано ещё кричать «бинго!». Сухроб так и не понял, что надо с этим ящиком делать. Сухроб устал. Усталый, он отошёл за угол дома и приспустил штаны.

«Всё же хорошо, что я гражданин», подумал он, справляя малую нужду.

Старушки внимательно наблюдали за ним сквозь свои катаракты. Немного обмозговав наблюдаемое, они решили высказаться насчёт почтальона.

Ивановна сказала что-то недовольное и сердитое. Ей не понравился Сухроб, точно так же как ей не нравились все подобные ему соотечественники. Всё же Ивановна была человеком образованным, поэтому в конце своей гневной тирады она не скатилась до уровня банального «понаехали».

Петровна покорила Ивановну за жестокость в отношении Сухроба и постулировала, что таких, как он, надо уважать за их труд. Далее она, сославшись на личный опыт своих немногочисленных племянников и внучков, которые сплошь были запойными пьяницами, утверждала, что коренные жители совсем в дугу спились и не способны более к результативному труду.

Алексеевна, как обычно, смолчала. Алексеевна вообще не была разговорчива.

Три старухи помнили время войны, которые была так давно, что они тогда были ещё молоды. Никакого дома, «тургеневдома», не было ещё и в проекте, но скамейка уже была. С высоты этой скамьи три подруги, Ивановна, Петровна и Алексеевна, смотрели на окопы и блиндажи, вырытые прямо перед их носами. В фортификационных сооружениях суетились солдаты. Иногда они отстреливались, иногда стреляли в них. Порою солдаты выскакивали

из окопа и, сражённые пулей или осколком, падали прямо на бруствер умирать в странных позах.

Ивановна, Петровна и Алексеевна со своей скамьи наблюдали за войной, проходившей на их глазах.

«Вперёд, ребята, защитим Родину!», подбадривала солдат Ивановна и плакала от счастья. Петровна же, в свою очередь, её мнение не разделяла. «Может, захватчики никакие не захватчики, а те долгожданные люди, которые принесут нам свободу от большевизма?», вопрошала Петровна. Алексеевна по извечной привычке своей всё молчала.

Когда война кончилась, наступила пора восстановления и труда. Старухи хорошо запомнили первое, на их взгляд, значимое событие с позитивным смыслом, по величию сопоставимое с войной. Тогда запустили первого человека в космос. Дом ещё не достроили, а вырытый для постройки «тургеневдома» котлован использовали для запуска ракеты. Огнём сжигаемого ракетного топлива слегка опалило извечные тулупы старушек, в которых они проходили все свои жизни. А гул стартующего в трёх метрах от извечной скамьи космического корабля навсегда оставил старух слегка подглуховатыми.

Ивановна тогда ужасно обрадовалась первому человеку, побывавшему в космосе; Петровна не разделила её радости. Она не понимала, что в этом такого значимого, в этом, как она выражалась, «подопытном кролике», побывавшем на орбите. Алексеевна опять не стала вступать в спор, но в душе, наверное, полюбила космического первопроходца.

Недолго «тургеневдом», построенный на месте бывшего ракетного котлована, простоял без потрясений. Время застоя, предшествующее эпохе перемен, тянулось недолго по старушечьим меркам — в него вместились два поколения их потомков. Тогда всё стало меняться на их глазах. В том доме появлялись один за другим новые и новые постояльцы: то были вернувшиеся из загранич свободомыслящие творцы, прозванные ранее диссидентами. Осуждённые на родине за тунеядство, в изгнании они получили всякие премии и титулы, но никакие вустрицы и другие кулинарные изыски в купе с пачками хрустя-

щей валюты не могли заглушить их глухую тоску по оставленной родине. «Как были бездельниками, так и остались», думала про них Ивановна. «Ну вот, теперь, когда они с нами, мы заживём по-новому!», мечтала Петровна. Алексеевне же было всё равно; наверное, в глубине души она знала, что вернувшиеся свободомыслящие творцы надолго в «тургеневдоме» не задержатся... Да так и стало, когда кончилась политика и нужно было решать производственные проблемы. Дом по улице Тургенева снова запустел; демократические голоса смолкли; не пустела лишь извечная скамейка, не смолкали лишь три старухи, обсуждавшие всё происходящее.

А время было сложное! Пожилым людям, таким как Ивановна, Петровна и Алексеевна было особенно трудно. Всё их потомство разъехалось, брат пошёл на брата судом за право на жилплощадь, кто-то ушёл в бизнес, а кто-то — на речное дно с пробитой головой; словом, всё вновь перемешалось, как это часто бывает в истории.

Тогда, в один из тех смутных дней, от рук вконец распоясавшихся бандитов пострадала ещё одна знакомая трёх старушек — домоседка Васильевна, которая тоже жила в доме по улице Тургенева, да вот только в посиделках на скамейках никогда не участвовала. Васильевну злоумышленники околдовали гипнозом и вынудили приобрести её на все скопленные несчастной старухой сбережения огромное количество мёда. Жить старушке Васильевне стало не на что; положение её стало настолько бедственное, что она вынуждена была продать свою корову-бурёнку, которую содержала на балконе ради свежего молочка. Зато мёда было вдоволь! Мёдом она питалась сама; мёдом угощала Ивановну, Петровну и Алексеевну. По особым социалистическим праздникам, вроде седьмого ноября, Васильевна даже позволяла себе принимать медовые ванны.

Спустя некоторое время Ивановна стала замечать, что Васильевна как-то странно пожелтела. Петровна же, наоборот, принялась утверждать, что Васильевна сделалась страшной бледной и выглядит плохо. Алексеевне было всё равно.

Когда Васильевна преставилась, весь дом по улице Тур-

генева, весь «тургеневдом» озарился необычным, ярко-жёлтым, почти медовым свечением.

«В этом нет ничего необычного; так часто бывает, когда едят слишком много мёда... или просто умирает хороший человек, который никогда никому не делал ничего плохого», высказался по поводу свечения местный фельдшер Михаил Виннипухов, прибывший осматривать тело преставившейся старушки Васильевны. А Рой Медведев, слышав гул слетевшегося на мёд роя пчёл, написал о несчастной старушке заметку в либеральном стиле.

Ивановна тогда сказала, что Васильевна — несчастная жертва цыган-обманщиков и достойна сожаления. Петровна не согласилась с ней, и считала, что Васильевна во всём виновата сама. Алексеевна молчала, и только лишь по её морщинистой щеке текла молчаливая скорбная слёзка.

Вернёмся к нашим, простите, баранам. Сухроб справил нужду за углом «тургеневдома» и подошёл вновь к почтовому ящику. Почтальон внимательно изучил ящик и понюхал его. Лизать не стал — так погиб, примёрзнув языком к ящику другой почтальон, его соотечественник, которого Сухроб сменил, что называется, на посту.

Старушки со своей скамьи, вмёрзшие в лёд, наблюдали за Сухробом.

«Телефон в пожарной станции отключили; теперь в случае пожара надо писать на пожарную станцию до востребования. А у нас такие шустрые почтальоны! Как же быть? Мы все сгорим!», подумала вслух Ивановна. «Ничего, обучится, пообвыкнет», сказала Петровна. «Мы все сгорим», услышала Алексеевна.

Ивановна предложила подшутить над Сухробом, посоветовав ему сделать с конвертом что-то смешное, например, съесть его. Петровна осудила Ивановну и предложила помочь горе-почтальону. Алексеевна, как и обычно, ничего не сказала. Словно знала, что ничего стоящего из этого всё равно не выйдет. Вообще, она была молчаливым человеком, как вы, наверное, успели заметить.

И, к слову, она всех пережила.

Даже Сухроба. Он, конечно, всё же справился с почто-

вым ящиком, но что такое «тургенеvдом» он так и не понял, и извёл себя этим вопросом.

Каждую пятницу Сухроб переодевался в смокинг, который носил поверх всё тех же тренировочных штанов и красных мокасин и отправлялся в центр столицы, в ночной клуб, на вечеринку. Там он любил общаться с русскими девушками, которые отвечали ему симпатией. Кто знает, может то были внучки Ивановны, Петровны или Алексеевны. У девушек были русые волосы и сказочно белая кожа. «Такой белой кожи у меня никогда не будет, даже если я вымоюсь», думал про них Сухроб. Такие сказочно белые тела были обещаны ему в избытке в раю. Но вот русоволосые и светлокожие тусовщицы из ночных клубов стали наблюдать, что Сухроб стал отчего-то грустным и задумчивым. «Что с тобой, Сухробушка?», спрашивали они его. Сухроб отвечал на вопрос вопросом: «Дом найти понял, конверт положить понял, а что такое тургенеvдом не понял». Девушки не находили, что ему ответить. Сухроб возвращался с вечеринок к своим соотечественникам расстроенный. Сняв смокинг, он садился с ними в общий круг у костра. Жарилось мясо и капли жира падали на угли. Соотечественники всё спрашивали у почтальона, отчего он печален. «Тургенеvдом», говорил он в исступлении.

ПОСЛЕ БАРА

Станным экссудатом выпотевала неделя в заботах, и, выпотевая, пролетела она незамеченной. Настала суббота. Я готовился к встрече с Ольгой. Подобно Пьеро, я выбирал для себя подходящий грим. Кармин и восточная зелень вряд ли подошли бы мне в тот вечер. Осознав это, я обрисовал свой лик фантастическим лунным лучом. Вот что подошло к моему образу как нельзя кстати! Закрашивая лицо пудрой, я убрал, наконец, брови, замазав их толстым слоем. С ними, с их постоянным удивлением, я был бы слишком печален. И без бровей из меня вышел достаточно грустный Пьеро. Неверная! Где ты? Хорошо бы знать! Но для начала

неплохо было бы разобраться, кто она, эта неверная. Кто она, Коломбина. Я ведь даже не знал, для чего этот вечер. Новое знакомство, конечно, увлекало меня, но новые ощущения в самом себе, не связанные с ним, увлекали меня ещё больше. Была ли Ольга чем-то большим, нежели просто интригующий собеседник, был ли её образ близок к искомому мною? Я не знал.

Мы встретились, как и договаривались, на станции «Парк Культуры». Тёмные колонны выглядели мрачно. Казалось, что они поросли древним мхом и были обвиты ядовитыми лианами. Какие-то майя и ацтеки окружали меня. Среди их почти азиатских, совершенно монголоидных лиц и ярких перьев мне было немного не по себе. Успокоился я лишь когда увидел у пилона с тревожной кнопкой ольгин долговязый силуэт и её даже немного горделивый, исключительно европейский, почти римский профиль.

Мы поехали на Арбат, хоть я и категорически не любил эту историческую местность Москвы. Я всё же согласился, доверился ольгиному выбору. На Никитском бульваре, в небольшом особнячке из красного кирпича был факультет, фармацевтический, где она училась. Как мне рассказала Ольга, она частенько ходила в тот бар, куда она меня, как испуганную собачку, вела на незримом поводке. Там Ольга имела обыкновение в компании своих одноклассниц отмечать сданные экзамены и оплакивать проваленные.

Бар располагался на втором этаже. Цветовая гамма его убранства сводилась к одному цвету — чёрному. Ольга выбрала место в углу зала для некурящих. Окон в том зале не было, но хорошо были видны большие, из потолка в пол, стёкла основного зала. Видна была позолоченная луковица храма Христа-Спасителя и красная морская звезда вестибюля станции метро, девятым валом метростроя выброшенная на арбатский берег. Перекатывался внизу, часто стопорясь, плотный автомобильный поток Святокалининского проспекта.

Я уж было расположился напротив Ольги, но она вежливо попросила меня сесть рядом с ней. Для меня это было удивительно. Обычно, в ресторациях, я привык за рюмочкой или бокальчиком чего-либо сидеть напротив собеседника. Так здорово было пускать кольца дыма в друга

и получать ответные никотиновые облачка от него. Так было удобно протягивать через пространство руку, чтобы одобрительно хлопнуть по плечу своего товарища. Но более всего так удобно было устраивать перестрелку шаловливыми взглядами и играть в «кто первый моргнёт, тот и платит по счёту». Однако Ольга захотела всё же, чтобы мы сидели рядом.

Холодный питерский портер был замечательным. Уже с первых глотков его я успокоился и даже перестал бояться шумных выкриков разговоров других людей, сидящих неподалёку. Впрочем, и они, и мы с Ольгой были «мичтателями». Что-то блоковское, будто бы взятое из «Незнакомки» виделось мне во всей этой обстановке. Разве что не было круглого аквариума, заполненного раками, и чья-то рука не перебирала в нём хрупкие тела розовых членистоногих. Даром что «Прага» была напротив, через дорогу...

Люди много курили, жадно ели, шумно пили, гулко переговаривались. Я и Ольга не сразу смогли разговариваться. Я лишь чувствовал, как соприкасались наши бёдра. На этом потёртом кожаном диванчике в углу зала для некурящих мы уселись непозволительно плотно друг к другу.

В зале вокруг нас было много парочек. Казалось, они должны были быть освещены светом их любви. Но слышалось лишь извечное «пей, да помалкивай». Были в этом баре и одинокие люди. Пускай многие из них были мне харизматически малопривлекательны, из-за их одиночества мысленно искал я в них родственные души. Однако, всё-таки, наверное, одиночества нет, тем более в питейных заведениях и среди моих сверстников. К каждому «одиночке» подходил спустя цать минут ожидания какой-нибудь его друг или подруга и присоединялся к его трапезе. Раздавались приветственные слова и проносились в воздухе поцелуи и рукопожатия. Излишняя людская радость, их нарочитый смех и даже счастье раздражали меня тогда. Раздражали они по-своему и Ольгу. Это чувствовалось. Мы были двумя грустными клоунами. Комичным было наше напускное пренебрежение к людям и мизантропия. Но такие уж роли избрали мы. Жить, не играя, мы не могли.

Я снова окинул взглядом людей вокруг. Много было моих сверстников. Я взялся писать о них, не подумав о том, в праве ли я делать это. Ведь, на самом-то деле, ваш покорный слуга Иван Андреевич мало знал своё поколение и не походил на большинство из них. Эти мои мысли незамедлительно сказались и на моём диалоге с Ольгой.

— Знаешь, я всё время чувствовал себя не таким, как все. Или, скажем так, зачем-то всегда противопоставлял себя обществу, а потом плакался, отчего это со мной никто не водится. Тебе это знакомо? — спросил я свою рыжую подругу.

— Да, ещё как знакомо!

— Вот сначала я был самым маленьким и не мог дать сдачи, потому меня все обижали. Потом я жил дальше всех от школы, когда школу сменил, и потому не мог ни с кем общаться вне занятий. Потом просто не мог найти подходящую компанию. Так же и среди любителей искусства: для «неформалов» я оказался слишком «академичным», а для любителей «академического» искусства я был слишком «неформален» сам. Далее — везде. Так и во всём, — говорил я тогда. Сам не понимаю, отчего я был в тот вечер несчастлив, выпивая с такой рыжей кричащей неординарностью, как Ольга Илонина. Наверное, в этом была какая-то своя непознанная необходимость. Без этого не узнали бы мы глубинные глубины наших характерных характеров. Противопоставляя себя окружающим, я приближал себя к Ольге, потому как она играла в ту же игру и по тем же правилам. Тем самым я словно задел какую-то струну, и Ольга зарезонировала с необычайной силой. Увлекающим вглубь леса наших отношений эхом звучали ольгины фразы, которые так забавно вторили моим мыслям. Наверное, она была человеком-зеркалом. Ольга сильно распалилась, много говорила о своей неординарности. Это было так похоже на меня, я ведь часто делал то же самое, и замечательная породистая скромность, присущая мне от рождения, не всегда срабатывала должным образом.

— Меня раздражает современная реальность, я бы ее взорвала, а образовавшийся серебристо-серый пепел развеяла бы по теплomu апрельскому ветру, — говорила она.

— Нельзя же быть такой критичной, Ольга.

— Отчего же нельзя? Можно.

— Меня раздражает не общество в целом, а сложившаяся в нём система ценностей. То, из-за чего мы называем всё вокруг нас «обществом потребления».

— Я против общества так такового.

— Нигилистка!

— Нет. Вернее так... Само по себе общество меня не так сильно раздражает, как люди. Люди, вот в чём главная проблема. Большую часть из них я презираю. Огромный потенциал, громаднейший! И ничего, пустота, примитив, мишура, глянец, все подло и грубо. Неандертальцы двадцать первого века...

— Тут я поддержу тебя, но мне этих людей жаль. Мне кажется, что что-то извне, какой-то закрепившейся в обществе и принесённый извне порок мешает им развить себя. Посмотри на наших сверстников. Отчего все такие одинаковые? Ведь умные же изнутри. Могли бы быть и лучше. Что-то помешало им.

— Хорошо бы знать, что именно. Но многие из них изначально испорчены, от того мне их не жалко, как тебе.

— Век наглецов — наш век. Вот ведь как выходит.

— Ну-ну! У меня вчера как раз настроение под вечер было такое, что мой дневник познал все прелести моего разочарования.

— Ольга, ты такая яркая, я думаю, что тебе не стоит грустить и разочаровываться. А тебе никогда не казалось, что вот это вот общество вокруг заставляет тебя, интересную и стоящую на более высокой эволюционной ступени развития чувствовать себя... Немного неполноценной? Нет, я не хочу сейчас сказать, что я как-то возвеличиваю себя над всеми. Нет, что ты. Просто я не такой, а они не хотят понять того, что грань и разделение лишь умозрительное.

— Да. Мне всегда казалось, что я дефектная, какая-то неправильная, что в моей голове сломалась какая-то очень важная пружинка, отвечающая за социальную адаптацию. Что вот я иду по улице, а мысли все мои из области восстания против вот этих простых людей с их интересами.

— Мне кажется, что тут не люди вокруг нас виноваты, а скорее мы сами. Мне очень неприятно это противопоставление. Мне хотелось бы жить с людьми. Протесто-

вать — милое дело, конечно, но только для подростка. Со временем это стремление должно проходить.

— Я нашла в тебе человека, который меня понимает, это же чудесно! — сказала Ольга, рассмеявшись, и взяла меня за руку, стукнув шутливо нашими совмещёнными ладонями по дивану.

— Продолжай дальше, мне приятно тебя слушать.

— Чудо-то какое! Я думала и людей-то таких нет уже, одна я вот ещё людей презираю, страдала душевно, можно сказать, из-за этого.

— А мы разве презираем?

— Просто не примешиваемся к толпе.

— А мы разве не примешиваемся?

— Ты запутал меня, ехидна! Может мы остаёмся каким-то... эх-м, навершием что ли этой толпы сверстников?

— Навершие, извини меня, у кое-чего другого бывает. Явно не у общества...

Так продолжался наш деланный разговор. Лишь принесенная гарсоном еда усмирила наш пыл. Мы смолкли. Наши ротовые аппараты, предназначенные для ласк, поцелуев и умных речей теперь были заняты механической обработкой пищи. А она-то, к слову сказать, была вкусна. Порции были небольшими; иного человека это бы расстроило, но не меня. Мой аппетит был как всегда скромнен. Наши с Ольгой заказы были одинаковыми. Жареный картофель дольками, присыпанный укропом и политый кисловатым томатным соусом с чесноком хрустел. Аккуратные порции жареной говядины на шпажке таяли и перемежались со скрученными в бутон розы полосками бекона. Я побоялся, в отличие от Ольги, употреблять мясо прямо со шпажки, потому что был очень неаккуратным человеком. Однако извлечение мяса с прутика с помощью вилки и ножа оказалось делом ещё более беспомощным и неуклюжим, чем я предполагал.

Мы заказали ещё пива, но прежде чем сделать это, я успел сходить в уборную припудрить носик. Мне не понравилось моё отражение в туалетном зеркале. Меня мой облик даже расстроил. Ничто не раздражает меня так сильно, как мелкие проблемы кожи моего лица и людская ограниченность. Возвращаясь к Ольге, я подумал о том, что за-

бавно было бы, если мы разговорились о внешностях друг друга. Так и случилось.

— А почему ты в костюмах ходишь? — спросила меня Илонина.

— Я так привык, мне очень удобно в пиджаках, и, потом, это мой стиль... А тебе не нравится? У каждого ведь свои загибы. Я вот не люблю спортивную одежду...

— Я её тоже не люблю. Нет, мне не то чтобы не нравятся твои эти пиджаки, просто непривычно. У меня вот своего стиля нет, я человек настроения. Я то в юбке, то в деловом костюме, то джинсы с толстовкой надену. Как с утра встану, так и видно будет...

— Поверь мне, ты при этом всегда хорошо выглядишь и всегда интересно. Что-то тебя выделяет сразу.

— Спасибо, мне приятно это слышать. Но открою тебе страшную тайну: я жутко в себе неуверенна.

— Что ж, я тоже. И это по-своему хорошо. Это предупреждает большое количество проблем.

— Каких же? — спросила Ольга и с особым ехидством, прищутив глаза, посмотрела на меня.

— Разных проблем... В общении, прежде всего. Излишняя самооценка мешает людям узнавать друг друга. И вот ещё. Если неуверенна в себе и проваливаешься — это не так страшно, в петлю не полезешь, как при апломбе и большой уверенности в себе. По крайней мере, я так считаю.

— Возможно... Но часто пониженная самооценка мешает проявить себя... Даже с вами в профсоюзе я себя чувствую очень неуверенно, боюсь, что я могу глупость какую-нибудь сделать. Поэтому я предпочитаю молчать и наблюдать.

— Ты хитрая, но милая лисица.

— Хотя у меня самые большие комплексы по поводу внешности. О да, это извечное моё...

— Поверь мне, они совершенно неоправданны в отличие от моих таковых же.

— Вот ты упрямый! Воистину дикобраз! С колючками.

Мы долго говорили что-то ещё эдакое вычурное. Ольга много и не стесняясь говорила о себе. О своих привычках. О своей внешности. Она была почти таким же ярким эгоцентристом, что и Иван Андреевич.

— Я ведь многих из них, кто вокруг тут нас и внешне успешен, красивее! — говорила Ольга, — Вот у меня грудь третьего размера. Я же не хожу полуголая, как они все.

— И правильно, для нормального мужчины так даже интереснее, — подтвердил я, а сам усмехнулся про себя этой забавной ольгиной манере набивать себе цену. Скажем так, насчёт размера, да и насчёт габаритов вообще, я бы ещё с ней поспорил. Много позже я подумал о том, как любят же девушки, утверждающие, что у них третий размер, говорить мне, что я у них второй мужчина: что ж, это весьма удачная позиция, второй не первый, проверить тут уж никак нельзя.

Еда давно кончилась. Сытые, мы теперь лишь пили; пили, но держали друг друга за руки в мрачноватом и избыточном пространстве этой комнаты для некурящих. Мы заказали себе немного ещё этих неслучайных прикосновений, игривых взглядов, напускной самооценки и лукавых комплиментов. Заказали у самих себя. На десерт был подан хрустящий на зубах торт взаимных комплиментов и приятностей под приторно сладким соусом планов на дальнейший совместный досуг. Прослойками крема была наша игра в выдуманную схожесть характеров и судеб друг друга, а коржами торта — наше отрицание общности с поколением, к которому мы принадлежали. Нам надо было всё же скоро уходить. Прибыл гарсон рассчитаться.

— У вас есть наша дисконтная карта? — спросил он.

— К сожалению, нет. А у вас наша?

Мы вышли на улицу. Под ногами булькала серая скользкая масса, перемешанная с солью, которая с таким трудом оттирается с обуви. Промокший асфальт пах и выглядел как промокшая шкура беспородного пса. Вечерело, моросило. Рыжело. Последнее — из-за ольгиного присутствия. Это было замечательно! Погода бодрила. Мы были немного пьяны. Перед нами был Святокалининский проспект.

Впереди вдоль него относительно недалеко от нас был храм Симеона Столпника. Долгих двадцать девять лет этот святой прошлого прожил отшельником на столбе. Бунюэль снял о нём замечательный фильм. Трижды к святому приходил в женском обличи сатана, говорил всякие лукавые вещи, и о излишествах в самоистязании тоже. Симеон лишь

молчал, но на третий раз, видимо, сдался и перенёсся в современный город. Лукавый сразу повёл его в молодёжный ночной клуб, или что-то вроде бара. Молодые люди дёргались в странном танце. «Радиоактивная плоть», назывался он. Симеону не понравилось в городе, он захотел вернуться на свой столб. На что сатана ответил ему, что возвращение домой может не понравится Столпнику: на столбе святого появился новый житель.

Вдоль Святокалининского проспекта высились серые книги советских высоток. Мне нравился их прямолинейный стиль, не знающих в своём железобетонном совершенстве линий никаких компромиссов. Начиналась система этих зданий почти сразу от упомянутого мной выше храма. Были ли эти высотки столбами новых столпников нашей действительности?

Через нервное сплетение построек прошли мы к храму Христа-Спасителя и вышли на мост. Мы стояли на Патриаршем мосту. Мне он не нравился — гадкий новодел. Архитектура этого моста, как и расположенный неподалёку знаменитый на весь мир и обожаемый москвичами памятник Колумбу, напоминала мне какую-то грубую восточную поделку, словно не архитектор и не скульптор занимались эскизами построек, а мастера мелкой чеканки, всю свою жизнь проработавшие на грязном арабском базаре.

На хилых парапетах моста повешены были замочки с именами якобы любящих. Мне, ясное дело, не нравилась эта традиция. Что-то было в ней бесовское. Ворчливому и вечно всем недовольному Ивану Андреевичу вообще казалось глупым связывать образ людской привязанности и любви с замком, который всё же является олицетворением уз.

Мне было страшно стоять на мосту. Я боялся того, что что-то может нечаянно упасть вниз. Например, мои очки. Ольга прочувствовала, что я волнуюсь, и взяла меня под руку. Я выпустил её и приобнял, прочувствовав её тело. Она была мягкой, словно хлебный мякиш, и податливой, словно необоженная глина, но это ощущение мягкости и податливости было обманчивым. Какой-то особый, ещё не до конца понятый мною смысл таился за всем этим. Ольга ничего не делала просто так.

— Знаешь, что можно сделать лишь один раз в жизни? — спросила меня Ольга.

— Не понимаю, о чём ты. Лишиться девственности, что ли?

— Нет, ну что ты. Я вовсе не о том. Хотя и об этом тоже, конечно, — Ольга усмехнулась и продолжила:

— Лишь один раз в жизни можно искупаться в Москве реке.

— Отчего так?

— Потому что живым из её воды точно уже не выйдешь.

Моросил дождик, а мы были в такой стадии взаимного опьянения, когда хочется поделиться всеми своими проблемами. Выдать всё своё нутро на поверхность. Что ж, это бывает очень полезно — для более близкого знакомства. Мне взгрустнулось, и Ольге, казалось, тоже. Хотя, как я понял значительно позднее, этот человек никогда не выдавал своих истинных эмоций.

— Не заслужил ли я лучшей участи? — спросил я.

— Лучшей? Понять бы еще, какая она, эта лучшая участь... Но должно же быть нечто иное. Ты к людям со всей душой, а тебе в руки, в сердце, в глаза вшили ниточки шелковые, чтоб не резались так остро, чтоб скользили мягонько, и тянут, тащат, иголками орудуют; ласковой рукой глазки закрывают, чтоб не так больно было, ласково же понукают: «давай, давай, что замер». Вот и всё: спешу тебя поздравить, ты марионетка. Ниточки вот они, ножницы заржавели, не обрезать концов, и ты стоишь ты, добрый, несчастный, и ниточки вокруг коконом вьются, душат, потому что не обрезать концов.

— Как ты красиво сейчас завернула, Ольга! Мне особенно про «не обрезать концов» понравилось, — сказал я и малость помолчал, но затем продолжил.

— У тебя никогда не бывает такого чувства, что все вокруг немного счастливее тебя оказываются? Больше получают от судьбы? — я, как обычно, жаловался на свою судьбу, видел большую несправедливость в том, что у меня якобы чего-то нет, а у окружающих это что-то наличествует непременно, и винил всех встречных-поперечных в собственных промахах.

— Знаешь ли, очень часто, — мне было приятно, что

Ольга сразу легко и непринуждённо согласилось со мной, словно её вдумчивый профиль с ярко-рыжим медным пучком волос, прямой чёлкой и носом с горбинкой в себе таил те же мысли, что и у меня в голове копошились. Ольга решила продолжить:

— Ты ведь о личной жизни, да? Об отношениях? — спросила она и я посмотрел на грязноватую воду под мостом. Немного погодя неохотно ответил:

— Да...

— Ты не расстраивайся. У меня вот вообще первые отношения лишь в восемнадцать лет возникли.

— У меня так же. Ты считаешь, что это поздно?

— Вообще нет...

— И вообще, я не люблю это слово.

— Какое?

— Отношения. Слово-то какое гадкое! Attitudes! Все мои сверстники пытаются в этот тупенький термин запихать все свои жизни, — говорил ваш покорный слуга, суровый и недовольный. Ольга посмотрела на меня настороженно.

— А ты хочешь сказать, что я с ними? Что я на их стороне? — спросила она обиженно. Можно подумать, что это действительно было очень значимо, где она — с ними, со всеми, или со мной. Ну или так: можно подумать, что в тот момент важно было, где она находится — по ту или по эту сторону безумия.

Ольга решила продолжить:

— Я скорее на твоей стороне, чем на стороне общества.

— Из твоих слов так выходит, словно я противостояю всему миру! Я тебе не водородная бомба... И даже не академик Сахаров!

— Просто ты, как и я, научился не обращать внимания на окружающих людей и быть самим собой.

— Таким же свихнутым.

— Сними очки, пожалуйста, — неожиданно сказала Ольга.

— Зачем? — спросил я настороженно: когда меня последний раз вот так одна девушка просила снять очки, она залепила пощёчину.

— Хочу посмотреть, как ты выглядишь без очков.

Я спрятал оправу в карман и посмотрел на неё. У нас

были похожие профили. Носы с горбинкой. Ольга провела пальцем по моему носу, затем по вискам. В ответ провёл ладонью по её щеке и шее. Наши головы сблизилась, но мы отстранились немного, не дав волю губам. Я держал её за руку, наши пальцы сцепились в замок.

— Вот, допустим, мы переспим. Потом ведь плохо будет, — сказала Ольга. Начало фразы мне понравилось, окончание — не очень.

— Да. Так всегда бывает. За любую мелочь потом всегда расплачиваться придётся, — ответил я Ольге, хотя сам думал иначе. Я считал, что может быть и не очень-то плохо, всё зависит от того, как себя повести после случившегося. Хотя это самое сложное, этого-то я и не умел. Мне не дано было тогда понять, что отношения двух людей — это, прежде всего труд. Зачем я ответил так на ольгины слова? Просто мне прояснилась ольгина игра. Барышни часто играют в эдакую растрогичную трагичность. Но у Ольги это получалось особенно ярко. Даже естественно. Я прицельно навёл на неё взгляд.

— Какие у тебя красивые серёжки, Ольга. Только тяжёлые, наверное. А какой это камень, если не секрет?

— Спасибо, что заметил. Это реголит.

— Необычный оттенок, первый раз вижу такой камень...

— Ехидна, как ты тему разговора резко переменял! А она ведь важная была...

Потом мы ещё долго нелепо говорили, зябли, после чего не менее нелепо молчали, но всё равно, нам обоим хорошо было в тот вечер. На фоне нас пёстрым штопаным платком разворачивалась Москва, или это мы разворачивали что-то наше совместное на фоне Москвы. Уже было темно, и для преодоления тьмы налились ртутью лампы фонарей. Что мы чувствовали? Нет, это не было ещё полное принятие друг друга. Когда мы стояли на Патриаршем мосту была просто какая-то увлечённость. Была ещё приятность, был даже восторг — но и некая тревога, которая только усиливала интерес. Источником тревоги была Ольга, не я. Этим-то она и притягивала. Что ж, страх — это лишь головокружение свободы. Голова шла кругом, — оттого, что мы так свободны и легко сошлись...

Над городом медленно двигались непонятные воз-

душные конструкции из грозовых фронтов, восходящих и нисходящих тепловых потоков и апрельских туч, похожих на посеревшую рисовую кашу. Испуг перед лёгкостью жизни пропитывал московский воздух. Над кварталами, над домами, над проулками и площадями подымался кислотовато-сладкий дух похоти и влечения. Переплетался он с запахами дождя, как переплелись тогда наши пальцы. Сколько было вот таких простых пересечений судеб, линий жизни? Сколько раз сходились люди, просто и сложно, прекрасно и омерзительно? И почему всё виделось мне таким тревожным, но вместе с тем, бесконечно комичным — особенно все те эпизоды, которые были связаны с моей собственной жизнью? Я не знал.

Мы спустились в метро, я провожал Ольгу до её родимой «Черкизовской».

— Ты знаешь, мне всё понравилось. Надо будет повторить, — сказала мне Ольга кокетливо и быстро поцеловала меня. Я взял её за локоток.

— Да, мне тоже.

— Только вот мне не понравилось, что ты поздно домой возвращаться один будешь. В следующий раз у меня останешься.

Какой замечательный спектакль отыграли мы, два грустных клоуна, лишь для того, чтобы затем вновь встретиться в гримёрной, уже наедине с друг другом и без грима. Где аплодисменты, зритель? Я не слышу.

МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ

Это было на одной из пьянок. Нет, я не люблю шумные компании и многолюдные сборища, — напротив, как только появляется на подобных мероприятиях возможность скрыться ото всех, уединиться и пообщаться визави с каким-нибудь одним приятелем (или, что ещё лучше, с подругой) я стараюсь как можно скорее этой возможностью воспользоваться.

Вечер был запоминающийся. Студия грамзаписи при-

ютила нас — меня и моих немногочисленных друзей. Гитарные партии накладывались одна на другую, сливаясь. Сильные ритмы задавали тон вечеру. Веселье одолевало нас. Шутя, называли меня друзья доктором, хотя до диплома оставались ещё годы. Музыка была оставлена нами спустя какое-то время, и компания лопнула, проевшись звуками насквозь, и сочилось сквозь трещины наше скромное по столичным меркам торжество. Пиво было рекой, вобла горой. Дым коромыслом. Кто-то один продолжал петь хором, на разные голоса, невпопад. Кто-то уединился сам с собой в тёмной и грязной подсобной комнате ради содержательных бесед. А кто-то в испуге поехал домой, чтобы остаться одному, предаться любви. Я не знал, к кому бы примкнуть. Была ещё водка, и я думал уж было примкнуть к ней, как вдруг в дверном проёме появилась шубка раскрасневшейся с морозца девушки.

О, эту шубку я помнил хорошо! Девушку, впрочем, не очень. С Анастасией мы знакомились дважды, и всякий раз я оказывался настолько пьян, что не запоминал обстоятельств нашего знакомства и содержания бесед. После первой нашей встречи в голове моей не осталось решительно ничего, даже имени, только силуэт, и тот слишком расплывчатый, чтобы послужить фундаментом для знакомства. После второй встречи её имя я всё же запомнил; запомнились мне ещё её губы, и медленно шевелящийся в моём рту язык, покуда мы зачем-то целовались; наверное, её имя я потому и запомнил, не целовались бы — не удержал бы в памяти её имя. Пьяному мне не очень верилось, что она существует. Ещё мне запомнилось, что Настя в разговоре иногда «шокает» и «гэкает». О, она так совершенно безобразно «гэкала», что мне, пьяному, подумалось, что это явился ко мне дух святой Москвы... дух московской любви, московской уличной любви...

Третью нашу встречу я помню куда лучше, ведь тогда я был совершенно трезв. Ну, или почти трезв... Вспомнив имя девушки и каким-то неведомым образом вычислив номер её телефона, я позвонил. Предложил от скуки встретиться. В день назначенной встречи она и была в той самой шубке...

Послonyaвшись по Замоскоречью, мы продрогли, заня-

тые малосодержательной беседой. Решили выпить пива; дешёвые кафешки были набиты людьми до отказа, и мы засели в какой то забегаловке, кажется, имени украинского национального героя Тараса Бульбы. Когда я заходил вовнутрь корчмы, я испугался, что меня там может встретить и застрелить мой отец, прикинувшийся официантом. Отца, впрочем, я так и не повстречал. Меню оказалось мне по карману. Пространство заведения запоминалось предметами в стиле псевдонародного китча. Я старался не обращать внимания на всё это буйство фольклорных сюжетов вокруг меня. Стол разделял меня и Настю. Скатерти, солонка, перечница, салфетки, всё в народном стиле, пролегали между нами хорошо укреплённой линией обороны. Вжатые в глубокие плетёные кресла, прислонившиеся спинами к спинкам кресел, мы были чудовищно далеко друг от друга. За разговором мы сближались, пододвигались ближе друг к другу лицами, и я уже не знал, чем закончится вечер. Так вот всегда не знаешь, и надеешься на что-то — достаточно одного лишь небрежно брошенного взгляда с намёком.

«Готовьтесь к новой грозе, ведь будущий день принадлежит мне», крутилось у меня в голове.

После первой кружки пива я расслабился и вспомнил, что у Насти фамилия заканчивается на «ко». Смутные воспоминания о нашей предыдущей встрече оказались правдивыми. Я прислушался к ней, она действительно «гэкала». Мы накинудись на сало.

После второй кружки я неожиданно сам для себя вспомнил, что года полтора назад, отсчитывая от описываемых тут событий, я уже бывал в этой корчме, да и за тем же столике. Только я был тогда с другой... Как же это печально всегда бывает: кабак всё тот же, столик всё прежний, и сумма счёта всё та же, что и в прошлый раз, не смотря на всё растущую инфляцию, да и обслуживающий официант всё тот же, неизменный, с всё теми же глупыми шутками и жлобскими повадками. Только женщина, с которой ты пришёл, уже совершенно другая...

После третьей кружки нас малость развезло, и мы стали собираться. Я помог Насте нацепить шубку и решил её провожать. До метро долго шли набережной. В воде

плавали, не думая тонуть, огни. Кремль багровел. Машины шуршали. Настины каблук цокали. Я взял её под руку, и всё переменялось. Машины цокали. Настины каблук шуршали. Мы спустились с Настей в метро. Мрамор станции «Театральной» блестел. Кто-то на пути блевал: это был вечер воскресенья. Людей было немного. Мы поехали до конечной, я провожал подругу до дому. Приглашён в гости я, конечно же, не был: домом ей служило общежитие. Скрипели рессоры вагона. Я и Настя сидели близко друг к другу, я рассчитывал поцеловать её, но всё никак не мог подгадать подходящий момент. Лицо её было к моему теперь очень близко и занимало всё пространство моего воображения. Немного лукавые движения, нарочито замедленные движения губ, улыбка на одну сторону, ямочка на одной лишь щеке, ямочка на подбородке.

На конечной станции мы вышли из вагона и на долю секунды обнялись. Губы, сжатые для поцелуя в чувствительный хоботок, бесцельно повисли в воздухе. Мои губы прикоснулись к Настиной щеке, и её точно так же к моей. «Свидимся», небрежно брошенное на выдохе, повисло в воздухе немим укором. Шубка распушилась, скрипнула и скрылась, растворившись в пустоте, в тишине, в смраде безликой действительности...

...И вот я помогал Насте снять эту шубку, чтобы затем повесить её на крючок. Она была в боевой раскраске, с плюмажем и с кивером. И она мне действительно нравилась, или это водка взяла меня за ливер? Чего это она вырядилась? Стало быть, пришла к кому-нибудь с расчётом, явно не ко мне. Ведь когда я виделся с Настей в последний раз, она была в простеньком свитерочке и совершенно без макияжа. Но что-то я не видел того человека, к которому она пришла. То ли он слишком глубоко в себя ушёл, то ли слишком из себя вышел. К кому же всё-таки пришла Настя? А, может быть, что и просто так пришла. На Насте была коротковатая юбка, эффектно демонстрирующая все неоспоримые достоинства её полноватых ног, и кожаный, а-ля не всё ещё потеряно, корсет с завязками сзади и декольте от Москвы до Николаева спереди. Да, она определённо была сегодня на коне. Явилась к нам на парад, с торжественно развевающимся флагом до-

ступной любви в руке. Я, конечно, понимал, что ей нужен генерал, но может и мне, простому и скромному полковнику, она готова была отдать в тот вечер честь?

Анастасия приветствовала моих знакомых, некоторые из которых помнили её лучше меня, а другие — куда хуже. Я был неприветлив с ней, рассчитывая урвать возможность пообщаться с ней tête-à-tête. Для себя я чётко решил добиться от неё хоть чего-то определённого в этот вечер. Я строил коварные планы.

И, надо же, получилось! Я оставил компанию, выйдя в темноту ночи подымить сигаретой, а Настя ко мне присоседилась.

— Настя, мне сейчас какой-то странный тип позвонил, сказал, что состоит в отношениях с тобой, очень тебя искал. С ним это часто бывает? — спросил я подругу, когда раскурили.

— Не часто, но бывает, — ответила Настя ослабившись, — Наверное, из моего телефона твой номер переписал. Чудила.

Я пододвинулся к ней ближе, вцепился в шубку, как в последнюю на земле надежду.

— Не жалко тебе, Настя, животных, вон какую шубку носишь.

— Так она же не настоящая, я её на рынке в Белхороде за полтора куса всехо купила.

— И что, что искусственная? Знаешь, сколько плюшевых мишек ушло для того, чтобы шубу сделать?

Посмеялись немного; я решил воспользоваться успехом удачной шутки и приобнял свою подругу. Как же спокойно она к этому отнеслась! Ближе ко мне, конечно, не подвинулась, но и не оттолкнула меня. Какой же податливой она была! Интересно, со всеми она так себя вела или почти со всеми? Я заглянул ей в лицо, отметил про себя ямочку на подбородке, агрессивный макияж и серёжки, каждая массивная, что чугунная пудровая гиря.

— Какие у тебя серёжки... Тяжело, наверное, их носить?

— Да вроде нет особо... — ответила Анастасия.

— Твой молодой человек не будет против того, что я тебя поцелую?

— Если ты, конечно, ему не расскажешь, — сказала На-

стя как-то особенно томно и ухмыльнулась. Колыхнулись в тишине её серёжки.

— Сделай мне хорошо, сделай мне приятно, Настя... — сказал я, отлепившись от её рта. Мои холодные, угловатые, жёсткие руки потянулись к теплу, округлости, мягкости.

— Не кусай хубы. Потом всё будет, — ответила Настя.

Мы возвращались с перекура к моим друзьям. Какой же податливой была эта ваша Анастасия! Становилось жаль её — из-за её открытости...

Одиноким я человек. Каждому кусочку тепла и нежности я рад — пускай что и червивому, пускай что и залежалому. Не такого сорта, скажете вы. А мне, в сущности своей, всё равно. Я не брезглив. Голодный человек в еде не бывает разборчив. Я слишком уж истосковался по теплу и нежности. Всему был рад.

Мы вернулись в помещение. Действо продолжалось. Напитки, как ни странно, не думали кончаться. Водка была дешёвая, из серии «а что пить-то будем, девочки?». Друзья резвились, разбившись на кучки. Настя была то с теми, то с другими. Я замыкался в себе, общаясь со всеми подряд. Я ожидал очередного перекура с Настей наедине. И вот, от реплики к реплике, промчалось время; случай представился. Колючий случай! Быстро и нервно покурив в молчании во дворе студии, я и Настя спустились снова в весёлый подвальчик.

— Настасья, поди на час.

— Зачем это?

— Пойдём вон в тот угол. Там тихо. Там нет камер, — попросил я.

— Да тут везде камеры!

— Ну да, ты права...

— Чёртовы видеорежистраторы, кто их только придумал.

— Смотри, вот там, кажется, тихо, — сказал я и потащил Настю туда, где глухо, в уголок. Чтоб никто не уволок. И снова мои руки вцепились в шубку, а губы в губки. Яркий макияж таял, похожий на мираж.

— Сделай мне хорошо, сделай мне приятно, — повторился я.

«Фу», скажете вы мне. А что тут было такого? Даже без-

домному псу порой хочется, чтобы его между ушек погладили.

Она была податлива и послушна, но вместе с тем — совершенно безучастна ко всему происходящему. И эта безучастность была единственным препятствием, разделявшим нас в тот вечер.

Продолжая держать осаду, Настя решила меня осадить:

— Я хотела тебе кое-шо сказать...

— Что, Настя?

— Я не знаю, почему так вышло, но...

— Что «но»?

— Я никогда не испытывала орхазма с мужчиной.

Я чуть в осадок не выпал. Хотелось шутить и ёрничать, спросить что-то вроде «а не с мужчиной?». Но я осёкся и обождал паясничать. На свой роток накиннул платок. А вдруг оно и вправду так; вдруг Настя сказала о своей особенности не для того, чтобы отстранить меня. Может действительно её стоит пожалеть, жалеть-то женщин всегда охота... Я пятернёй левой руки что гребешком парикмахера зарылся ей в волосы, не боясь порушить причёску. Волосы она окрасило в охру чем-то едким, едва ли не перекисью водорода, получилось остро. Я сказал её волосам:

— Может тебе просто не встретился тот, кто тебе действительно подходит. Желаю, чтобы встретился.

— Я правда никогда не испытывала... Хотя парней у меня было много, как ни странно.

Настя засмеялась, показав желтоватые, от никотина, ровные зубы. Э, подруга! Чем-то явно не тем ты сейчас хвалишься. Может, всё это было дешёвым трюком и весёлым кунштюком? Может всё это было проделано для того, чтобы отстранить меня — или же, наоборот, чтобы привлечь меня ещё больше? А может и для того и для другого, а там дальше как карта ляжет? Дай ответ! Не даёт ответа. Вообще не даёт...

Нет во мне шарма и разящей харизмы; и мужской силы нет — я не имею сейчас в виду насилие, я говорю о чудовищном обаянии силы, перед которым бывают так падки... Вот и остаётся мне уповать на одно: долго держать измором, кланчить милостыню тела, медленно затягивать

в своё болото приятностей. Не было во мне остроты. Так я тогда воспринимал себя.

— Потом всё будет. Пойдём уже, нас ждут, — сказала Настя.

— Нет, давай ещё немного постоим.

— Ты мне тоже нравишься, но, может, пойдём?

— Постой ещё.

— Маньяк, — сказала веско Настя, и алогично потянулась резко меня поцеловать.

А в самой студии, куда мы возвратились, кто-то уже спал девятым сном; а кто-то, самый стойкий, продолжал самозабвенно беседовать; кто-то один потягивал предсонный чаёк, щадя печень, кто-то печень не щадя продолжал потягивать то, что налито было. Мы с Настей сидели рядом, и, казалось, ничего между нами и не было, и в самом деле ничего, будто бы мы друг друга только что узнали. Революция кончилась, теперь была дискотека — беззвучная, неподвижная. Неспешные разговоры продолжились.

И вдруг, когда я уже позабыл все свои претензии, когда я уже думал оставить все свои поползновения, забыть свою причастность, Настя посмотрела на меня лукаво своими серыми глазами и задала мне вопрос, который ранил меня в самое сердце, задел меня за живое:

— Друг мой, у нас осталась ещё водка?

— Вообще-то нет. Но для тебя...

Словно факир, достающий кролика из шляпы, я вытащил из-под стула уже прогревшуюся бутылку. Водка была дешёвая, из серии «авось пронесёт!».

Настя сама потянулась за водкой. Я налил в кружку с цветами воды из бойлера. Настя решила водку пить водку прямо из горла, я опередил её, подцепил Настин локоток своей согнутой рукой с кружкой воды и мы немедленно выпили, будто бы на брудершафт: я — воду, Настя — водку. Крякнув, Настя хлебнула ещё беленькой и закупорила пробкой горлышко; я отвёл кружку и протянул ей водицы запить. Капелька воды повисла на её губах, я стёр капельку указательным пальцем и провёл ладонью по Настиной щеке. Настя посмотрела на меня пустым взглядом с поволокой. Я подмигнул ей, подмигнул и другой и другой своей спутнице — той, что прозрачная и с тоненьким горлышком,

зубами откупорил и выпил тремя маленькими глотками. Вслед за тем по Настинной просьбе мы с ней вышли перекурить на лестницу.

Постучав угловато согнутым пальцем по дну пачки, я вызволил на свет божий две сигаретки. Взял одну, воткнул в рот своей подруге, она поиграла немного губами, я погладил Настю по щеке. Щёлкнула моя зажигалка, пламя вспыхнуло, колыхнулось и погасло в ночи. Ночь была тиха. После водки холодно не было. Сигареты тлели. Обдавало крепким табачным душком. Я держал Настю за то место, где подразумевалась талия, под моей рукой была непроницаемая упругость кожаного корсета. Нестерпимо хотелось мне уже перейти к какой-то конкретике, к активным действиям, скажем так, а не то вечер получался слишком рыхлым; вечер выходил хорошим, но слишком уж неопределённым. Я вытащил сигарету изо рта подруги и крепко поцеловал её, закинув руку со своей сигаретой Насте за затылок. Главное было её не обжечь, а то после выпитого координация движений у меня явно нарушилась. Настя была вновь не против того, что я её целую. Она отвечала мне неторопливыми и неглубокими движениями языка. Целовалось она мягко, спокойно, но с какой-то лукавостью — точно так же, как она и говорила, ровно и размерено, будто бы без эмоций, но с приятной жеманностью. Разве что не «гэкала», когда целуется.

— Обожди, — сказала мне Настя, — У нас будет ещё возможность. Дай докурить.

— Ладненько, — ответил я, но не сразу отпустил свою подругу. Мы курили, уже по второй, перехлестнувшись руками, точно так же, как пили на брудершафт воду и водку минутами ранее.

Настя была уже порядком пьяна — заметно было по тому, как она немного заплеталась языком в конце коротких фраз и по тому, как она усиленно «шокает» и «гэкает». И, как это часто бывает с людьми подвыпившими, Настя в разговоре зациклилась на одной-единственной теме: говорила она исключительно о своих болячках.

— Вот шо ты думаешь, как доктор, за мою щитовидную железу?

— Да вроде ничего не замечаю в тебе особенного.

— Я ведь с Белгородской хубернии, а там Чернобыль рядом.

— О, тогда да, что-нибудь да точно есть.

— Посмотришь?

— Конечно.

Я принялся пальпировать её шею. Свой подбородок с неглубокой ямочкой Настя закинула вверх, к козырьку лестницы. Заморгала часто ресницами, накрашенными густо. Ей, вестимо, нравилось. Под кожей шеи призывно билась жилка.

— Хашимото, не Хашимото... Может быть, что-то врождённое, чёрт его знает. По крайней мере, я не могу ничего найти у тебя, — забормотал я.

— Я когда йод-препараты какие-то принимала, пять килохрамм за неделю сбросила, представляешь?

— Ого, ничего себе! Но мне тут трудно хоть какую-то связь проследить. Наверное, нас плохо учили. Может, много нервничала в тот период времени, от того и похудела?

— Да вроде нет особо.

Немного помолчали, но Настя захотела ещё сказать.

— У меня ещё шо-то под мышкой слева вскочило, я думала, шо жировик. Можешь потрохать, — сказала она не вопросительно, а, скорее, утвердительно.

Настя игриво приподняла своё рыхловатое плечико, и моя рука скользнула ей под шубку, за корсет. Кожа была у моей подруги мягкая, нежная, приятно было её трогать. Я зарделся. Нащупал немного уплотнённый лимфатический узел.

— Я чувствую лишь немного уплотнённый лимфоузел, — сказал я.

— Странно, а я думала, что это жировик и думала выдавить. Я как шо не вскочит, сразу выдавить попытаюсь.

— А с другой стороны нет? — спросил я деловито и сунул правую руку под шубку. Ничего там не нашёл. Руки, впрочем, оставил, убирать их не стал, скользнул ими ещё глубже за корсет. Нащупал узорчатый бюстгальтер, сжал Настины груди. В декольте обрисовалась чётче заманчивая ложбинка меж грудей цвета беж. Поцеловались ещё. Я уже начинал зябнуть, но не хотелось уходить, не хотелось выпускать Настю. Сумерки таяли в предрассветной

истоме. Бычки под ногами дымились. Пустая пластиковая бутылочка с прожженным боком валялась. Валялась она тут, наверное, потому, что представителям моего поколения сложно ощущать себя ровесниками своего государства. Было пять утра ночи. Влечение охватило меня без остатка, но Настя, отчего-то захмелевшая ещё сильнее, от моих прикосновений что ли, всё продолжала говорить о физиологических проблемах своего, желанного для меня в тот вечер, тела.

Я подумал тогда о том, что, быть может, красота и оригинальность внешнего вида девушки состоят отчасти из тех или иных заболеваний, патологий, пороков. То, что кажется завораживающей нежной жилкой под коленкой, оказывается на самом деле предвестником грозного заболевания: варикозного расширения вен. Эффектная томная верхняя губа — это то, что чуть не стало уродливой заячьей губой, когда девочка была ещё в утробе матери. А этот долгий затылок, как будто созданный для ношения высоких причёсок — следствие родовой травмы. Вот эти страстные губы — от неправильного прикуса. А вот необычный разрез тех глаз — из-за межрасовых сношений в ряду поколений. Продолжать могу до бесконечности... впрочем, стоит ли? Разве, в конечном итоге, все эти черты не прекрасны? Вот бы все набрались сил любить человека таким, какой он есть, и мир бы стал иным. Как же хотелось, в этом мире-то, мире патологичном, получить хоть немножко тепла. Красота ведь больше не спасает этот мир.

— У меня из-за того, что худела, а потом снова полнела, на хруди белые полосочки. Растяжки, — сказала Настя совершенно спокойно.

Я залез губами ей в декольте ровно так же, как и её об-раз залез мне в голову, несмотря на всю её открытость, граничащую уже с приличием.

— Можешь взять меня за хрудь. Да, вот так...

Выходило почти как у Маяковского: «А бабу грудастую/В подъезде сграбастали!». Я смущенно выдохнул. Настя по-играла ресницами. Повела ухом. Мягкая кожа. Приятная кожа. Привлекательность форм. Заманчивость положения. Ничуть не меньшая заманчивость продолжения. Страх быть застигнутыми врасплох. Страх поиметь последствия.

Инстинкты, преодолевающие страхи. Ночь, покрывающая нас обоих.

— Я была у хинеколоха и он меня отрухал. Ну, он ещё и маммолохом работает. Сказал, шо хрудь красивая, но отрухал, шо бюстхальтеры мяжкие ношу и на ночь не одеваю. Сказал, что она у меня обвисать со временем будет.

— Мммм, — произнёс я многозначительно.

— Я так не считаю. Мне всё нравится. У тебя действительно красивая хрудь, — сказал я ещё. Ну вот, я начал незаметно сам для себя подражать её акценту. Моя рука потянулась к юбке.

— Не стоит. То, что обычно девушкам бывает приятно, мне просто щекотно, — сказала Настя лишь бы меня урезонить.

Она меня не любила, не жалела; впрочем, это было естественно: мы едва были знакомы. Но разве я не был хоть немного красив в тот вечер? Не смотря мне в лицо и млея от тщательно скрываемой страсти, Настя стояла мне на плечи руки опустив...

— А когда мне пять лет было, я опоясывающим херпесом переболела. И сейчас, когда у всех на хубах вскакивает, у меня...

Я еле сдержался от того, чтобы не засмеяться вслух.

— Душа моя, прости, что ты сейчас сказала? Чем ты переболела? — переспросил я.

— Херпесом.

До чего же смешно это звучало! Хотя плохо, конечно, стебаться над разговором.

— Я фрихидная, я с мужчиной я никохда не испытывала орхазма... — повторилась Настя.

— Милая, давай сейчас не будем об этом...

— Я вот думаю, где я кое-шо оставила.

— Что «кое-что»?

— Кое-шо для тебя. Нам пригодится, — сказала Настя лукаво и искустительно, посмотрела на меня с глумливой улыбкой.

— Наверное, в сумочке оставила, там... Ладно, не хочу никого будить, в друхой тогда раз, — проговорила Настя заплетающимся языком. Она была пьяна, пьяна, беспардонно пьяна. Она была бедна, бедна, сострадательно бедна.

Хотелось её пожалеть... всеми доступными мне видами жалости. Вдруг она действительно была неспособна к удво-вольствию? Хотя один вид её говорил уже о том, что муж-чины активно пользовались ею — уже хотя бы взглядом пользовались. Что было такого в её образе? О, я знаю, что: это похотливая мода казала свою глумливую морду!

— Сделай мне хорошо, сделай мне приятно... — повто-рил я свою мантру. Настя сказала снова «нет», намекнула на другой раз. Но вместе с тем её нога оказалась между моих ног как-то слишком уж нагло и призывно.

— Да, какой там у тебя... бухорок.

— Бугорок, да.

— В друхой раз тогда полный медицинский осмотр меня проведёшь, доктор, — пообещала мне Настя, добро улыбаясь. Слова её были хороши, но, как всем известно, обманы обещаний — плохое средство от миазмов при-апизма.

— Я пьяна сейчас, очень пьяна. Ничехо хорошехо не выйдет...

— Обещаешь мне, что у нас будет ещё возможность?..

— Ой, да шо ты. Обещаю, ладно.

Мы обнялись с новой, усиленной крепостью объятий, но уже несколько по-дружески, спокойно. Размеренно по-глаживала она меня по спине. Что ж, я и этим буду доволен, и образ её буду в голове носить; как обычно, ущербной вы-шла моя доля, и наш союз не получилось нам скрепить...

— Я засыпаю... Засыпаю у тебя на руках, — тихо, ослаб-шим голосом, говорила мне Настя.

— Засыпай. Засыпай, моя девочка...

Все уже спали в основной комнате, преимуществен-но на полу, вразвалочку, в смешных позах, а кто-то один залез в большой барабан и спал там, скрючившись. Я по-мог Насте устроиться на хлипкой и ненадёжной, как я сам, конструкции из четырёх совмещённых стульев и укутал её шубкой. Настя сразу заснула, как малое дитяtko, мило засо-пела носиком, что неразумный бутузик.

А вот у меня сна не получилось. Было душно. В голове у меня гудело. Гудело, впрочем, не только в голове... Прова-ландавшись с час в полусне, полуяви, между навью и явью, между безумием и трезвостью рассудка я вскочил, как

ужаленный. Анастасия спала, лёжа на спине, согнув одну ногу буквой «г». Ох уж пресловутая эта буква! Чулок, проравшийся в нескольких местах, сполз у неё ниже колена. На рыхловатым плечике отпечатался стул. Спешно и тихо одевшись, я вышел.

Московское утро было приятным, ярким, чётким. Утро бодрило. Курить впервые в жизни не хотелось. Было легко и радостно. Становилось отчего-то хорошо, отчего-то приятно.

«Отчизна, отчизна, близится час для нас, твоих детей, скоро мы покорим весь мир, ведь будущий день принадлежит мне!», звенело у меня в голове.

Я вышел из Малого Кисловского переуллка на Большую Никитскую и зашагал к Кремлю. Театр Маяковского алел. Интеллигенция погибала на рынках. Узбеки скрипели мётлами. Магазины открывали свои двери, для того, чтобы сказать своим посетителям «спиртное продаём после двенадцати». Памятник Чайковскому на своих тяжёлых коленях приютил детей.

Я преодолел Никитскую и пересёк Моховую. Где-то недалеко была Тверская улица; поговаривают, там бывает много таких вот, с Белгородской губернии, с герпесом... Манеж желтел. Автозаки стояли. Стало быть, ждали кого-то. Потребители, посетители торгового центра, гнили. Омоновцы в касках-сферах скучали. Вечный огонь горел. Церетелевские уроды купались в фонтане.

В голове эхом звучали Настины слова: хубы, хрудь, Белгородская хуберния, бухорок, фрихидность, потрохать, хинехолох, бюстхальтер, маммолох, видеорехистратор. Ну и херпес, конечно же, куда без него! Хотя, нет — орхазм, орхазм-то поинтереснее всего будет...

У угловой Арсенальной башни я круто завернул, поскользнулся и чуть не упал. Могущество Москвы вскружило мне голову.

Гэ, гэ, гэ! Стало легче на душе... Шо, шо, шо! Как мне стало хорошо. Захотелось мне ещё.

Мимо Исторического музея вышел я на Красную площадь. Утро было самым дивным. Утро бодрило. Кремль застыл и больше не двигался. Провинция, впрочем, уверено побеждала. Василий Блаженный сиял. Рубин крем-

лёвской звезды багровел. Китайцы фотографировались. Ленин в мавзолее лежал. Туман висел. Куранты били. Били восемь. Становилось хорошо, становилось приятно.

И я подумал тохда, хоспода, хлавное в жизни это ведь гуманизм! Любовь друх к друху. Мы должны позабыть ущербное хаерство тех людей, шо стремятся к успеху и сытости. Мы обязаны схенерировать для себя новые ценности, новый уклад жизни, сформировать новое хенерализованное, так сказать, мышление. Тохда будет хорошо, будет приятно. Пускай мы возьмём самое лучшее, шо есть в наших хенах. Наши мысли будут быстры, как хепард. Хероем нашехо времени будет хетеросексуал, не ждущий удачных хешефтов от судьбы, не боящийся похибнуть за свои светлые идеалы. Мы будем хихиенстами наших душ, допустим в них только самое правильное. Ещё прозвучит наш хордый гимн! С хиперзвуковой скоростью наша мысль облетит вокрух всехо хлобуса! Мы чутко внемлем хласу народа. Мы изведём в нутре нашем хлисты сомнений. Мы победим хлумление потребительства и будет праведным наш хнев! Ценности хниющехо общества потребления будут отброшены нами, мы избавимся от всей этой потребительской хнуси! Над нами распростёрла свои крылья христова холубка; и это не хон. Мы свернём ещё хоры; перед нами открываются новые хоризонты. Хоспода, вы слышите, как трубит наш хорн! Мы построим ещё сияющий храд на холме. Хоспода, вы видите, как сияют храни кристаллов нашей новой мудрости? Это не хротеск, это новая действительность. Да пройдёт хрусть, да смоется хрязь. Хотовтесь к новой хрозе, ведь будущий день принадлежит мне. Вот шо хотел вам сказать.

ПОГАНЯЯ МОЛОДЁЖЬ

Сегодня умерла моя совесть. А, может быть, вчера — не знаю. Я стал поганым.

Мы шли, я и подруга, откуда-то и куда-то. Идиотка, мне были милы твои вырожденческие черты! Мне нравился

твой тик и твои зрочки разного размера. Клубилась пыль. Горизонт был завален. Над полем тянулся смог. Темнело. Где-то в отдалении люди стреляли друг в друга и сходили с рельс поезда. Самолёты взрывались. Дома горели. Люди гибли за металл. Падала с неба звезда и становились горькими воды. Нам было далеко до всего этого — мы были поганой молодёжью...

И днём и ночью по улицам шатались толпы — поганая молодёжь. Мы приходили наплевать на ваши дела. Мы рыгали портвейном на почётных граждан. И не надо пугать нас, нам нечего было терять...

Мы шли вдоль автострады... Мы держались за руки. Потная ладошка в моей руке. Она шархалась автомобильных гудков. Вперёд, урча, неслись машины — грязные, вонючие машины. Деревья плакали, рыдали и, дерьмом плюясь, шуршали шины.

Футболочка у моей подруги задралась и пошла по шву в трёх местах. В её волосах были комья земли и какой-то сор. Комичная причёска, смешные косички-дреды, свалывшиеся волосы, комочки земли в них. Я был не лучше. Мы ведь лежали на земле. Я завалил её прямёхонько за гаражами. Снюхались мы как собачки. Иного ложа нам было не дано. Эксгибиционизм как высшая и последняя стадия влечения.

Мария! Мария! Мария! Отстань! Я ведь могу на улицах! Ты хочешь?..

Я и не думал её отряхнуть. Не думал и отряхнуться сам. Да ничего и не могло меня очиститься, кроме разве что огня, да и то, в наш гнилой век, всякий огонь — антонов.

Мы были бедны, страшно бедны — бедны, прежде всего, духом. Но и не духом одним: отсутствие дома — вот ведь больший повод для инвалидности, чем отсутствие какого-либо органа. Что уж говорить об отсутствии цели в этом нашем мирке, в котором можно делать и отсутствие дела. Мы были поганой молодёжью; но вот те, сытенькие, господа хорошие в сапогах, были ли они лучше, вот в чём вопрос.

Вы, сытые! Вы, выходящие скандировать и скандалить на городские площади под пёстрыми знамёнами! Ваш протест — стремление к ещё большей сытости. Вам всего

всегда будет мало; ваша звезда — золотой телец. Мы пошли другим путём. Нам нечего здесь ловить, нам не к чему стремиться; наша звезда — звезда-полынь. Наш протест — саморазрушение. Вы не любите друг друга в ваших роскошных апартаментах. Мы — любим друг друга в грязи за гаражами.

Я и подруга шли себе дальше, по дну леонидандреевской бездны, по краю александркупринской ямы. Тоска разливалась в нас. Я тебя любил... чего же болен? Грустно, но хорошо нам было. Она держала в руках двухлитровую баклажку пива. Держала бережно, приложив к груди, как ребёнка. Я взял у неё из рук эту баклажку и принял к себе на руки, так же нежно, так бережно, как и она до того.

— Это — что? Это — наш ребёнок? — спросил я риторически.

— Это — наш ребёнок, — ответила она убеждённо и уверенно, даже с радостью.

Что ж, каким бы он ни был — он наш. Быстренько же мы его заделали! И в самом деле, если у нас и будет потомок — то только такой. Нам нечего больше предложить миру. Наши дети продаются в ларьке с двенадцати до девяти. Посмотрите на неё — у неё уже дитё! Это — апофеоз. Я как шёл, так и осел на землю. Закусил губы, сделал вид, что заплакал.

— Ты чего, придурочный? — спросила она незлобно. Молнию метнула глазами и пошла, и пошла, и пошла, ругая. Я самый низкий, я подлый самый, хоть и учёный малый, да вот что только это в наш век значит?

— Вот психический! — сказала она ещё. И посмотрела на меня своими безумными глазами с разными зрачками. Я помнил ещё в тот момент как совсем недавно эти разнящиеся в диаметре чёрные точки отражались в моих тёмных очках вместе с её лицом, сведённом судорогой; помнил, как это лицо было близко от моего. Я поднялся.

— Дай пятёру, — сказала она, взяв меня за руку, — и пошли уже. И ещё... Дай выпить из нашего ребёнка!

Посмеялись и немедленно выпили. Отупело зашагали дальше. Нам некуда было идти...

МАЛАЯ РОЗА

Однажды, после затяжной болезни, я, в потной и грязной, липкой пижаме вышел в ночь дымить своей бесконечной папиросой. Сутулились дачи и скрипели ставни выбитых окон чердаков, звезды сыпью неясного генеца вскочили на небе, мучительно тянулось время и туго переплетались в голове воспоминания. Пылали вдаль нескончаемые фабрики. И когда миазмы ночных кошмаров рассеялись, как дым моей папиросы, я увидел впереди себя на улице, подле разделяющей нас пузырящейся лужи, их — прекрасную новую молодёжь. Они попросту не замечали меня — согбенная фигура моя не представляла и не могла представлять для них какого либо интереса. Они были прекрасны, как символ новой жизни — они не знали порока. Они были чисты: и генетически, и духом.

Но новая молодёжь как явилась, так и исчезла, что с белых яблонь дым, оставшись в моём воспоминании лишь как прекрасный мираж — как предвестник того, что будет в дальнейшем, но и как мерило того, насколько всё паскудно сейчас. В голове моей роились бесконечные вопросы. Светил ли сквозь туман и дым нам лик господний с вышины? И был ли здесь Иерусалим меж тёмных фабрик сатаны? Неясно было.

Я искал тех, кто придут нам на смену — тех, кто выправят нашу действительность, кто изведут дурное в людях.

Новый человек, где ты? Где ты, истово верующий? Где ты, которого боятся тёмные? Где ты, неискушённый? Не знавший вина, не знавший порока, не знавший грязной любви? О теле твоём электрическом я пою. Приди! Ты так разительно отличаешься от беспечных бастардов, окружавших меня всю мою жизнь! И от меня самого, если подумать трезво...

Святой, крепкий, где ты, мы забыли уже имя твоё, почему мы стали такими подлыми, почему мы не можем стать бескорыстными и новыми? Когда явится новая молодёжь, дай ответ! Не даёт ответа.

Люди, ищущие алый бутон розы романа обманулись — в том цветке бездумного влечения за плевою лепестков

не оказалось сладкого нектара, лишь только густой горький гной.

Роза мира больше не существует; у мира остались лишь шипы, но нет бутона, стебля и листьев — все завяло. Мир все больше и больше становится похож на каменный мешок; сдвигаются стены этого мешка, на стенах — шипы, а на острие шипов — человеки.

Роза разлучилась навсегда со своим крестом, никто не несет уж своего креста, и красоты розы никто не почитает.

Узор из роз растерял свои коленца и петли, и нет сейчас такого пути, что уместно было бы лепестками выложить.

Как и нет сейчас среди нас человека, достойного неси белый венчик из роз.

Моя малая роза еще в саженце была осуждена на вечное увядание. Малая роза, и без того малая, никогда не расцветёт. И так будет ещё сорок сороков, и потом ещё сорок раз столько же, пока не придёт прекрасная новая молодёжь, пока не наступит новый век. Где верный меч, копьё и щит, где стрелы молний для меня? Пусть туча грозная примчит мне колесницу из огня! Может, тогда цветок распухнет? Может, только тогда расцветёт и не станет увядать малая роза?

...Придёт день, поднимется над людьми красная заря труда. Разогнут люди свои спины, поднимутся от земли, и пойдут семена роз сеять.

Люди! Сердца не стесняйтесь открыть. Берите огонь жизни! Горите, как свечи! Летите, как мысли! Лечите, как правда! Цветите, как розы.

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЫШ ИВАНОВСКИЙ.....	4
ОХОТА НА ЛИС.....	6
ЗАПЛЫВШИЕ	7
ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ	15
УТРО СОБАЧЬЕЙ КАЗНИ	22
ТУРГЕНЕВДОМ.....	26
ПОСЛЕ БАРА.....	32
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ	44
ПОГАНАЯ МОЛОДЁЖЬ	58
МАЛАЯ РОЗА	61

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ
Библиотека альманаха «СЛОВЕСНОСТЬ»

Иван Розанов
МАЛАЯ РОЗА
Рассказы

Книжная серия «Визитная карточка литератора»

Редактор — Евгений Степанов
Выпускающий редактор — Нина Давыдова
Вёрстка — Марина Кива

Заказное издание
Книга выпущена в авторской редакции

Бумага офсетная
Гарнитура Calibri
Тираж 100 экземпляров
Сдано в набор 26.08.2014
Подписано в печать 25.09.2014

Издательство и типография
«Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп. 1, офис 34.
Тел. (495) 978 62 75